Морис Дрюон

Узница Шато-Гайара

PREMIUM

Проклятые короли

Морис Дрюон

Узница Шато-Гайара

«Азбука-Аттикус»

1955

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Дрюон М.

Узница Шато-Гайара / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус», 1955 — (Проклятые короли)

ISBN 978-5-389-19402-1

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. После романа «Железный король» эту серию исторических фресок продолжает «Узница Шато-Гайара». Зловещая тень пала на Францию. В день солнечного затмения скончался Филипп IV Красивый, прозванный Железным королем. Он строил крепости, преобразовывал законы и всеми силами охранял независимость Франции. Двадцатипятилетний Людовик, унаследовавший отцовский трон, был не слишком пригоден к этой роли. Его главные жизненные достижения – репутация рогоносца и нелестное прозвище: Сварливый. Прежде всего его заботит не судьба государства, а восстановление супружеской чести. Отныне судьба королевы-изменницы – в руках монарха? Повлияет ли на ее участь проклятие Великого магистра?

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-19402-1

© Дрюон М., 1955
© Азбука-Аттикус, 1955

Содержание

Пролог 7
Часть первая. На заре царствования 8
Глава I 8
Глава II 15
Глава III 22
Глава IV 29
Глава V 35
Глава VI 40
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Морис Дрюон
Узница Шато-Гайара

Maurice Druon
LA REINE ÉTRANGLÉE
Copyright © 1955 by Maurice Druon
© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 2021
© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

* * *

Цикл исторических романов Морича Дрюона «Проклятые короли», открывший мрачные тайны средневековья, пользовался в СССР необыкновенным успехом: миллионные тиражи, десятки изданий, и все равно за этими книгами стояла очередь в библиотеке. Прошло время, изменилась страна, но романы этого цикла по сей день заслуженно любимы читателями.

«Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» – бросает из пламени костра великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле в лицо Филиппу Красивому, королю Франции. Это огненное пророчество сбудется: с 1314 года более полувека на троне Франции короли будут сменять друг друга, но никто не задержится там надолго. Дворцовые интриги, внезапные смерти, династические революции и кровавые войны будут сопровождать это мрачное шествие проклятых королей. Невероятная эпоха, определившая будущее прекрасной Франции.

Мориса Дрюона недаром любят в России. Помните, во времена книжного дефицита, когда популярные книжки можно было приобрести за сданную макулатуру, лидером этого «натурального обмена» был именно Морис Дрюон. И это вовсе не смешно. Для простых читателей Дрюон был одновременно и захватывающим, и интеллектуальным чтением.
Павел Басинский

Если вам нравится «Игра рпестолов», вы влюбитесь в серию романов Дрюона «Проклятые короли».
Джордж Р. Р. Мартин, атвор «Игры престола»

Идеальное слияние исторической правды и романтического вымысла. Золотая классика жанра.
Les coups de cœur des libraries.
www.livredepoche.com

Действие дрюоновского цикла охватывает почти весь XIV век. Мы попадаем в средневековую Францию, путешествуем по Европе, видим роскошные коронации, чехарду рвущихся к власти правителей, казни, интриги, жестокость тех мрачных времен, «когда собор Парижской Богоматери был еще белым», а чума за короткое время выкашивала пол-Европы…

Изысканная историческая проза с долгим послевкусием, как выдержанное французское вино.
Людивин.
Librarie FNAC (Bordeaux)

* * *

Вся история того времени – в смертельной борьбе законника и барона.
Мишле

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакретелю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.
М. Д.

Пролог

29 ноября 1314 года, через два часа после вечерни, двадцать четыре гонца в черном одеянии, украшенном эмблемами французского государства, выехали из ворот замка Фонтенбло и, пустив коней вскачь, углубились в лес. Дороги замело снегом, мрачное небо было темнее окутанной сумраком земли.

Двадцать четыре гонца скакали без отдыха до самого утра, скакали они и на второй день, и на третий; кто направлялся во Фландрию, кто – в Ангулем и Гиень, кто – в Доль в графстве Конте, кто – в Ренн и Нант, в Тулузу, в Лион, в Эг-Морт, в Марсель, подымая с постели представителей местной власти, дабы те объявили в каждом граде и поселении французского государства, что король Филипп IV Красивый испустил дух. Вслед им, разрывая мрак, несся со всех колоколен погребальный звон; с каждым часом ширилась и росла зловещая волна набата, и затихла она, лишь докатившись до границ Франции на севере, востоке и юге.

После двадцатидевятилетнего царствования преставился не знавший слабости король, прозванный Железным; скончался он в возрасте сорока шести лет от кровоизлияния в мозг, и густая тень окутала французское государство, ибо день его смерти совпал с солнечным затмением.

Итак, свершилось последнее, третье проклятие, что восемь месяцев назад бросил в лицо королю заживо сожженный на костре Великий магистр ордена тамплиеров.

Высокомерный, умный, настойчивый и скрытный государь, Филипп Красивый столь многим отметил свое царствование и свое время, что казалось, в вечер его смерти перестало биться сердце самого королевства. Но не умирает нация со смертью одного человека, как бы велик он ни был: иные законы определяют рождение и упадок государств. Имя Филиппа Красивого осталось памятно французам как имя короля, который сжигал на кострах своих недругов и повелел уменьшить долю золота в монете Франции. Зато очень скоро забылось, что он обуздал знать, старался поддерживать мир, преобразовывал законы, строил крепости, чтобы оградить поля Франции от вражеских нашествий, уравнял в правах провинции, сзывал на ассамблеи горожан, дабы заслушать их мнение, и всеми силами охранял независимость Франции. Но едва лишь успела окоченеть его рука, едва лишь угасла эта железная воля, как сразу же началась необузданная игра личных интересов, ущемленных самолюбий, погоня за титулами и деньгами.

Две партии вступили в борьбу и свирепо оспаривали власть друг у друга: с одной стороны – реакционный клан баронов, возглавляемый графом Валуа, родным братом Филиппа Красивого; с другой стороны – клан высших сановников, руководимый Ангерраном де Мариньи, первым министром и коадъютором покойного монарха.

Избежать столкновения, которое назревало в течение долгих месяцев, или разрешить его мог только сильный государь. А двадцатипятилетний Людовик, король Наваррский, унаследовавший отцовский трон, был малопригоден к этой роли; единственное, чего он добился, – это репутации рогоносца и нелестного прозвища: Сварливый.

Жена его, Маргарита Бургундская, старшая из принцесс, обитавших в Нельской башне, была заключена в крепость за прелюбодеяние, и жизнь ее явилась своеобразной ставкой в борьбе между соперничающими партиями.

Но все тяготы этой борьбы, как и всегда, ложились на плечи тех несчастных, кто ничем не владел и не мог даже ни о чем мечтать… Да и зима 1314/15 года, как на грех, выдалась суровой и голодной.

Часть первая. На заре царствования

Глава I
Узницы Шато-Гайара

На меловом утесе, напоминающем формой своей шпору, у подножия которого лежит городок Пти-Андели, высится замок Шато-Гайар, господствуя над всей Верхней Нормандией.

Как раз в этом месте Сена среди тучных лугов образует широкую излучину, и Шато-Гайар, как страж, озирает гладь ее вод на десять лье вниз и вверх по течению.

Еще и сегодня развалины этой грозной твердыни приковывают к себе взгляд человека, тревожат его воображение. Наряду с Крак-де-Шевалье в Ливане и башнями Румели-Гиссар на Босфоре смело можно назвать в числе памятников военной архитектуры Средневековья и крепость Шато-Гайар.

Созерцая эти сооружения, воздвигнутые с целью охранять уже завоеванные земли или угрожать соседям, невольно обращаешься мыслью к тем людям, которые отделены от нас всего лишь пятнадцатью-двадцатью поколениями, к тем людям, которые возвели эти цитадели, укрывались и жили за этими крепостными стенами, разрушали эти крепостные стены.

В описываемую нами эпоху замок Шато-Гайар насчитывал всего сто двадцать лет. По приказу короля Ричарда Львиное Сердце его построили в течение двух лет, в обход договоров и с целью грозить отсюда королю Франции. Увидев свое детище, воздвигнутое на утесе, сверкающее белизной свежей каменной кладки, опоясанное двойным кольцом крепостных стен, с верками, спускными решетками, амбразурами, с тринадцатью башенками и главной двухэтажной башней, Ричард воскликнул: «Какой веселый замок!» – откуда и пошло название Шато-Гайар[1].

Десять лет спустя Филипп-Август вместе с прочими нормандскими землями отобрал у Ричарда и его любимую крепость.

С тех пор Шато-Гайар перестала быть военной крепостью, ее превратили в королевскую тюрьму.

Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому, за кем убирали подъемный мост Шато-Гайара, уже никогда не суждено было увидеть белый свет.

Целый день над башнями с карканьем кружилось воронье; зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою темницу и по окончании службы вновь возвращался туда, где ждала его смерть.

Ныне – в последнее утро ноября 1314 года – крепость Шато-Гайар со всеми ее укреплениями служила местом заключения для двух принцесс, и вся стража зорко стерегла двух женщин – одной из которых минул двадцать один год, а другой восемнадцать, – двух кузин, Маргариту и Бланку Бургундских, бывших жен сыновей Филиппа Красивого, уличенных в прелюбодеянии с королевскими конюшими и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала здесь навеки.

Часовня помещалась внутри второго кольца укреплений. Была она высечена в самой скале, там царил мрак, там царил холод: два-три окошка да голые стены.

Перед алтарем стояло всего лишь три сиденья: два слева предназначались для принцесс и одно справа – для коменданта крепости.

---

[1] Château-Gaillard *(фр.)* – «веселый замок».

В это утро в глубине часовни выстроилась стража, на лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней.

– Братия, – возгласил капеллан, – вознесем моления свои с особым благочестием и рвением.

Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергала и его самого в смятение.

– Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа, – начал он. – Печаль великая над всем королевством.

Обе принцессы разом повернули друг к другу свои личики, полускрытые оборками чепцов из небеленого холста.

– Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем, – продолжал капеллан, – пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут заупокойные моления об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, представ перед судом Господним…

Принцессы упали на колени и склонили голову, желая скрыть свою радость. Они уже не чувствовали холода, они забыли обо всех своих страхах и бедах: безбрежная волна надежды оживила их сердца; и если они обращались сейчас к Богу, то лишь затем, чтобы возблагодарить Создателя, избавившего их от свекра-тирана. Впервые за семь месяцев, прошедших со дня их заключения в Шато-Гайаре, к ним дошла с воли добрая весть.

Стражники, толпившиеся в глубине часовни, перешептывались, задавали друг другу вполголоса вопросы, переминались с ноги на ногу – словом, подняли вовсе не подобающий случаю шум.

– А вдруг возьмут да выдадут нам по медному грошу?

– С какой это радости – оттого, что король помер?

– Да мне говорили, так принято.

– Держи карман шире, за мертвого ничего не дадут, вот, может, за нового помазанника еще раскошелятся.

– А как звать нового короля?

– Людовик Святой был по счету девятый, стало быть, выходит, наш будет зваться Людовиком Десятым.

– А будет он хоть воевать? Надоело в этой дыре сидеть без толку!

Комендант крепости обернулся и грубо приказал:

– Молиться!

Но и самого коменданта терзали заботы. Ибо старшая из вверенных ему узниц приходилась супругой его величеству Людовику Наваррскому, восшедшему ныне на престол. «Вот теперь и стереги королеву Франции», – думал про себя комендант крепости.

Не так-то просто состоять тюремщиком при особах царствующего дома, и, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни провел комендант Робер Берсюме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскортом сотни лучников во главе с Аленом де Пареем, на повозках, обтянутых черной материей. Пусть польщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот! Две молодые женщины, такие молодые, что, как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости… и красивые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение семи месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников, убегут ли из темницы, повесится ли одна из них, подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь, или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот (с этими придворными интригами всего жди!) – во всех случаях виноват будет он, виноват, что обращался с ними слишком сурово или, наоборот, слишком мирволил им, – словом, покуда они здесь, на повышение в должности можно не рассчитывать. А ведь ему, как и капеллану, узницам и стражникам, ничуть не улы-

бается мысль окончить свои дни и свою карьеру в этой цитадели, обвеваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на две тысячи солдат и насчитывающей в своих стенах только полтораста, в этой цитадели, возвышающейся над долиной Сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной.

«Тюремщик королевы Франции, – твердил про себя комендант, – этого только недоставало».

Никто не молился, но каждый с самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах.

– Requiem oeternam dona eis domine…[2] – выводил капеллан нараспев.

Творя заупокойные молитвы, капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляют сейчас ту же заупокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост Великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узилище. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба.

– Et lux perpetua luceat eis…[3] – подхватил комендант крепости, с завистью представляя себе, как гарцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парей, капитан королевских лучников.

– Requiem oeternam… Выходит, даже по чарочке не поднесут? – спросил вполголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена.

А две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость.

Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа, но большинство не сумели бы даже объяснить, какое именно чувство источает из их глаз слезы: просто они хоронили короля, под властью которого жили, и вместе с ушедшим королем ушла их молодость.

Но не в тюрьме Шато-Гайар следовало искать подобные чувства.

Едва лишь заупокойная месса окончилась, Маргарита Бургундская первая шагнула к коменданту.

– Мессир Берсюме, я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично, – произнесла она, пристально глядя ему в глаза.

Когда Маргарита Бургундская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно.

Берсюме невольно потупил глаза.

– Я выслушаю вас позже, мадам, – сказал он, – только обойду дозором крепость и сменю караул.

Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему препроводить принцесс обратно в башню и, понизив голос до полушепота, велел вести себя сугубо осторожно.

В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланке, имелись всего три высокие круглые залы, расположенные друг над другом и схожие до мелочей, – в каждой был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках; комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража – та самая стража, которая доставляла капитану Берсюме столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые шесть часов и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале второго этажа, а Бланку – третьего. На

[2] Вечный покой дай ему, Господи… *(лат.)*

[3] О свете немеркнущий… *(лат.)*

ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покои принцесс, в дневное же время им было дано право общаться между собой.

Когда Лален ввел узниц в башню, они не обменялись ни словом, обе ждали, чтобы затих шум его шагов, привычный скрип петель и скрежет замков.

Только тогда они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу.

– Умер! Умер! – сорвался с их губ ликующий крик.

Счастливый смех сменялся рыданиями, они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили:

– Умер! Умер!

Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы и с облегчением тряхнули короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения.

Черные колечки вились вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на затылок, и, вопросительно взглянув на кузину, воскликнула:

– Зеркало! Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало! Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?

Бланка говорила так, словно с минуты на минуту им должны вернуть свободу и самое главное теперь было позаботиться о своей внешности.

– Как, должно быть, я постарела, если ты задаешь мне такой вопрос! – вздохнула Маргарита.

– Нет-нет, – запротестовала Бланка. – Ты все такая же красивая, как и прежде.

Бланка произнесла эти слова с искренним убеждением: совместные страдания не позволяют видеть плачевных перемен во внешности своего товарища по заключению. Маргарита отрицательно покачала головой; она-то знала, что Бланка заблуждается.

Все, что пережили они обе с той роковой весны: трагедия, разыгравшаяся в Мобюиссоне в самый разгар их счастья, суд, казнь и пытки, которым в присутствии принцесс подвергли их любовников на главной площади Понтуаза, оскорбительные выкрики толпы, собиравшейся на всем пути следования, чтобы поглазеть на молоденьких преступниц, затем полгода тюремного заключения, зловещий вой ветра в трубах, удушающий зной летом, когда солнечные лучи раскаляют камень, ледяной холод в осеннюю пору, жидкая похлебка из гречихи, составлявшая весь их обед, грубые, как власяница, рубашки, выдаваемые раз в два месяца, узенькое, словно бойница, окошко, откуда, сколько ни нагибайся, сколько ни верти головой, виден лишь шлем лучника, мерно шагающего взад и вперед, – все это оставило неизгладимый след в душе Маргариты, и она отлично понимала, что эти изменения не могли не коснуться также и ее внешности…

Возможно, восемнадцатилетняя Бланка с ее удивительным легкомыслием и почти детской беспечностью, без всякого повода переходящая от самого безнадежного отчаяния к самым необоснованным надеждам, Бланка, способная забыть любое горе только потому, что на гребне противоположной стены защебетала птичка, и радостно воскликнуть, улыбаясь сквозь еще не просохшие слезы: «Маргарита! Слышишь? Птичка поет!» – Бланка, верящая в предзнаменования, в любое предзнаменование, и мечтающая с утра до ночи, как иные женщины с утра до ночи перебирают четки, – Бланка, выйдя из темницы, могла бы, пожалуй, обрести свои былые краски и чувства, живость взгляда; но Маргарита – никогда. То, что надломилось в ней, не могло ни срастись, ни распрямиться.

С первого дня заточения она не проронила ни слезинки; и точно так же не было в ее душе места раскаянию, угрызениям совести, сознанию своей вины и сожалению.

Исповедовавший ее еженедельно капеллан всякий раз ужасался подобному закоснению во грехе.

Ни на мгновение Маргарита даже мысли не желала допустить, что сама повинна в своей беде; ни на мгновение не желала она признать той простой истины, что ей, внучке Людовика Святого, дочери герцога Бургундского, королеве Наваррской, предназначенной для христианнейшего престола Франции, слишком рискованно было брать себе в любовники конюшего, принимать его тайком в замке своего супруга, осыпать его на виду у всех подарками, забыв, что в такой опасной игре на карту ставится не только честь, но и свобода. Оправдание своим поступкам она видела в несчастном браке с нелюбимым мужем, одно прикосновение которого вызывало у нее брезгливую дрожь и ужас.

Она не ставила себе в вину этой игры; она яростно ненавидела тех, из-за кого проиграла; только против ее мучителей обращался бессильный гнев Маргариты: против ее золовки, английской королевы, открывшей королю ее связь; против королевского дома Франции, осудившего ее на муки; против родичей своих, герцогов Бургундских, не пожелавших вступиться за нее; против всего Французского королевства; против злой судьбы, против самого Господа Бога. И сейчас при мысли, что она могла бы быть вместе с новым королем, делить с ним всю полноту власти и блеск величия, а не сидеть жалкой узницей за кольцом этих стен в двенадцать футов толщиной, ее охватывала неутолимая жажда мести.

Бланка нежно обвила рукой ее шею.

– Все позади, – произнесла она. – Я уверена, милочка, что наши несчастья кончились.

– Они кончатся лишь при одном условии: если мы сумеем действовать ловко и быстро, – отозвалась Маргарита.

Во время заупокойной мессы в ее головке созрел целый план, и, хотя она и сама не слишком ясно понимала, к чему он может привести, ей хотелось одного – обратить себе на пользу события последних дней.

– Когда сюда явится этот увалень Берсюме, дай мне поговорить с ним наедине, – обратилась она к Бланке и добавила: – Вот чью голову я с радостью бы увидела на острие пики, а не на плечах.

В эту минуту в первом этаже башни пронзительно завизжали петли, заскрипели засовы.

Обе принцессы быстро натянули чепцы. Бланка отошла в дальний угол комнаты и встала у амбразуры узкого оконца; стараясь придать себе самый царственный вид, Маргарита уселась на табуретку – единственное седалище, имевшееся в ее распоряжении. В залу вошел комендант крепости.

– Явился по вашей просьбе, мадам, – сказал он.

Глядя прямо ему в лицо, Маргарита с умыслом оттягивала начало разговора.

– Мессир Берсюме, – наконец произнесла она, – знаете ли вы, кто отныне находится у вас в заключении?

Берсюме отвел глаза и осмотрел комнату, как бы отыскивая взглядом некий одному ему видимый предмет.

– Знаю, ваше величество, знаю, – ответил он, – и думаю об этом с самого утра, с той самой минуты, когда гонец, направлявшийся на Крикбеф и Руан, поднял меня с постели.

– Вот уже целых семь месяцев я нахожусь здесь в заключении, и до сих пор у меня нет ни сорочки, ни стула, ни простыни; ем я ту же бурду, что и ваши лучники, а камин здесь горит меньше часа в день.

– Я повиновался приказам мессира Ногаре, ваше величество, – ответил Берсюме.

– Мессир Ногаре умер.

– Он переслал мне предписания короля.

– Король Филипп умер.

Комендант без труда разгадал, куда клонит Маргарита, и поспешил возразить:

– Но мессир Мариньи пока еще пребывает в добром здравии, а ведь именно в его ведении состоят суды и тюрьмы, равно как и все прочее в королевстве, и я во всем от него зависим.

– А утренний гонец не привез вам никаких распоряжений касательно меня?

– Не привез, ваше величество.

– Вы не замедлите их получить.

– Буду ждать, ваше величество.

С минуту они молча глядели друг на друга. Роберу Берсюме, коменданту крепости Шато-Гайар, уже исполнилось тридцать пять лет – в описываемую нами эпоху возраст более чем зрелый. Главными свойствами его характера были хмурая озабоченность и брюзгливость, что почему-то весьма ценилось в служаке, подымающемся по иерархическим ступеням, и со временем эта напускная суровость становилась второй натурой. Обычно Берсюме разгуливал по крепости в шапке из волчьего меха и старой, слишком просторной кольчуге, которая собиралась у талии в складки и почернела от непрерывной смазки. Густые брови его сходились у переносицы.

В первые дни заточения Маргарита пыталась было его соблазнить и даже была готова поступиться женской честью, лишь бы превратить его в союзника. Однако из боязни могущих произойти неприятностей комендант устоял. Но до сих пор в присутствии Маргариты он испытывал какую-то неловкость и затаил против нее в душе злобу – он не мог простить ей той жалкой роли, которую она уготовила ему в своих замыслах. И сейчас, глядя на нее, он думал: «Смотри-ка ты, я бы мог быть любовником королевы Франции». И он не без тревоги спрашивал себя, пойдет ли на пользу его будущей карьере или бесповоротно ее загубит чересчур безупречная служба.

– Поверьте на слово, мадам, не слишком-то уж сладко мне было так обращаться с женщинами… да еще столь высокого происхождения, – сказал он.

– Охотно верю, мессир, охотно верю, – ответила Маргарита, – тем паче что в вас с первого взгляда чувствуется рыцарь, которому не могут не претить подобные приказы.

Рожденный от деревенского кузнеца и дочери причетника, комендант крепости выслушал слово «рыцарь» не без тайного удовольствия.

– Только, мессир, мне надоело жевать щепочки, чтобы не почернели зубы, надоело вылавливать из супа сало и натирать им руки, чтобы от холода не потрескалась кожа.

– Понимаю, мадам, понимаю.

– Я была бы вам весьма признательна, мессир, если бы отныне вы более успешно защищали меня от мороза, паразитов и голода.

Берсюме потупился.

– Не имею на сей счет никаких распоряжений, мадам, – ответил он.

– Причиной моего заточения здесь явилась лишь ненависть ко мне короля Филиппа, и с его кончиной все переменится, – отозвалась Маргарита, и ложь ее прозвучала так естественно, что она сама чуть было не поверила в собственную выдумку. – Значит, вы будете ждать, пока вам не повелят открыть предо мной ворота крепости, и только тогда окажете мне должное уважение? А не считаете ли вы, что вести себя таким образом – значит ставить под удар свою дальнейшую карьеру?

Сплошь и рядом люди военного звания нерешительны от природы, именно поэтому они так склонны повиноваться чужой воле и нередко по этой же причине проигрывают битвы. Берсюме был столь же медлителен в решениях, как легок на повиновение. Со своими подчиненными он был скор на кулачную расправу и неистощим в ругани, но перед лицом неожиданного поворота судьбы ему не хватало сообразительности, дабы принять нужное и единственно верное решение.

Чей гнев страшнее: этой женщины, которая, если верить ее словам, завтра приобретет всю силу власти, или же гнев мессира де Мариньи, который сегодня держит всю власть в своих руках, – вот в чем вопрос, вот что следует решить немедля.

– Я требую также, – продолжала Маргарита, – чтобы мы с мадам Бланкой на час или два могли выходить за крепостную ограду, пусть, если вы считаете это необходимым, под вашим личным наблюдением, хватит с нас любоваться этими стенами и пиками ваших лучников.

Тут уж принцесса явно поторопилась и хватила через край. Берсюме учуял ловушку. Узницы просто ищут способ ускользнуть у него между пальцев. Значит, сами они не так уж уверены, что их сразу же призовут ко двору.

– Коль скоро, мадам, вы королева, вы не осудите меня за то, что я верно служу королевскому дому, – отчеканил он, – и что не в моей власти нарушать данные мне предписания.

С этими словами комендант крепости поспешил покинуть башню, опасаясь продолжения неприятной беседы.

– Пес! – воскликнула Маргарита, когда за Берсюме захлопнулась дверь. – Сторожевой пес, годный только на то, чтобы лаять и кусаться!

Маргарита сделала ложный шаг и теперь ломала себе голову над тем, как бы наладить сношение с внешним миром, получить оттуда последние вести, послать туда письма, и не просто послать, а так, чтобы они миновали всемогущего Мариньи. Она не знала, что в этот самый час по дороге, ведущей в Шато-Гайар, скачет гонец, выбранный среди первых баронов французского королевства, скачет затем, чтобы предложить ей весьма любопытную сделку.

Глава II
Его светлость Робер Артуа

«Если тебе выпала злая судьба быть тюремщиком королевы, будь готов ко всему», – думал Берсюме, спускаясь с башни, где томились в заключении принцессы. На душе у него было тревожно, его грызло недовольство. Понятно, что событие столь великой важности, как кончина короля Франции, рано или поздно приведет сюда, в Шато-Гайар, посланца из Парижа. И поэтому Берсюме, не щадя глотки, кричал, отдавал распоряжения, наводил порядок во вверенном ему гарнизоне, точно готовился к инспекционному смотру. «Пусть хоть с этой-то стороны, – думалось ему, – не к чему будет придраться».

Целый день в крепости шла суматоха, какой не видали здесь со времен Ричарда Львиное Сердце. Все поддающееся чистке начистили до блеска, подмели даже самые дальние закоулки. «Эй, лучник, ты потерял где-то свой колчан! Чтобы колчан немедленно был на месте. А почему кольчуга заржавела? А ну, живо, наберите-ка побольше песку да трите посильнее, чтобы все блестело!»

– Если сюда пожалует мессир де Парей, я вовсе не желаю предстать перед ним с шайкой нищих и оборванцев! – гремел Берсюме.

Все помещение кордегардии тоже выскребли и вымыли, щедро смазали цепи подъемных мостов. Вытащили даже котлы и поставили кипятить смолу, точно враг уже подступил к крепостным стенам. И горе было тем, кто не проявлял достаточной расторопности! Солдат по прозвищу Толстый Гийом, тот самый, что надеялся получить дополнительную чарку вина, заработал пинок ногой под зад. Помощник коменданта Лален буквально сбился с ног.

То и дело гулко хлопали двери – крепость Шато-Гайар походила сейчас на мирное жилище, где идет предпраздничная уборка. Если бы принцессы решили потихоньку улизнуть отсюда, пожалуй, им не представилось бы более благоприятного случая. В этой суматохе их бегства просто не заметили бы.

К вечеру Берсюме окончательно лишился голоса, а его лучники, охранявшие крепостные стены, всю ночь от усталости клевали носом. Но когда на следующий день с восходом солнца дозорные заприметили мчавшуюся вскачь вдоль Сены кавалькаду со знаменосцем во главе, явно направляющуюся из Парижа, комендант поздравил себя в душе за предусмотрительность и сделанные накануне приготовления.

Он поспешил натянуть парадную кольчугу, достал самые лучшие сапоги, которые насчитывали всего пять лет от роду, прицепил шпоры длиной в три дюйма, сменил меховую шапку на железный шлем и вышел во двор. Не без тревоги, смешанной с гордостью, оглядел он своих людей, и, хотя те еле держались на ногах после вчерашних хлопот, их начищенные алебарды и копья ярко блестели в первых молочно-тусклых лучах зимнего солнца.

«Надеюсь, насчет внешнего вида никто к нам не сумеет придраться. Теперь я смело могу жаловаться на скудость отпускаемого мне содержания и на то, что столица всякий раз опаздывает с высылкой денег, необходимых для прокорма моих людей».

У подножия утеса уже запели трубы всадников, и до слуха коменданта долетел дробный топот лошадиных копыт, гулко отдававшийся на каменистой дороге.

– Поднять решетки! Опустить мост!

Цепи, на которых был подвешен подъемный мост, заскрежетали в своих пазах, и через минуту пятнадцать всадников с гербами королевского дома, стараясь держаться вокруг главного посланца – массивного мужчины в пурпуровом одеянии, величаво восседавшего в седле и казавшегося собственной, еще при жизни воздвигнутой статуей, – вихрем промчались под сводами кордегардии и очутились во дворе Шато-Гайара.

«А вдруг это новый король собственной персоной? – подумал комендант, спеша навстречу прибывшим. – Господи Боже мой! А что, если он взял да приехал за своей супругой?»

От волнения он чуть не задохнулся и, только немного отдышавшись, смог наконец как следует разглядеть ехавшего впереди всадника в плаще цвета бычьей крови, а тот тем временем успел соскочить наземь и направился в сопровождении конюших в сторону коменданта – этакий гигант, весь в мехах, бархате, коже и серебре.

– Служба короля, – возгласил гигант, помахивая перед носом Берсюме пергаментным свитком со свисавшей на ниточке печатью и не давая коменданту времени прочесть хотя бы строчку. – Я граф Робер Артуа.

Церемония взаимных приветствий оказалась недолгой. Его светлость Робер Артуа, желая показать, что он человек негордый, хлопнул лапищей по плечу коменданта, отчего тот согнулся чуть ли не вдвое, и потребовал подогретого вина для себя и своей свиты. На громовые раскаты его голоса пугливо оглядывались дозорные, застывшие на верхушках башен. При каждом шаге прибывшего гостя, казалось, дрожала земля.

Еще накануне Берсюме решил, что, кто бы ни явился в Шато-Гайар в качестве посланца короля, он лично в грязь лицом не ударит, что врасплох его не застанешь, что в глазах столичного гостя он сумеет показать себя образцовым начальником образцовой крепости и будет действовать так, что его непременно запомнят и отличат. Он уже заготовил приветственную речь, но – увы! – все эти пышные фразы так и остались непроизнесенными.

Через минуту Берсюме уже подавал на стол вино, которое потребовал у него важный гость, с удивлением слышал свой собственный умильный голос, бормотавший какие-то льстивые слова, недоуменно оглядывал свое жилище (четыре комнаты, примыкавшие к главной башне), вдруг как-то странно уменьшившееся в размерах с того самого момента, когда его порог переступил приезжий гигант, потом, наспех осушив чарку, помчался вслед за графом Артуа по темной лестнице, ведущей в помещение узниц. Вплоть до сегодняшнего дня Берсюме считал себя мужчиной крупного роста, а тут показался себе чуть ли не карликом.

Столь же короток был и разговор о принцессах.

Артуа спросил только:

– Ну как они там?

И Берсюме, проклиная в душе свою глупость, ответил:

– Очень хорошо, спасибо, ваша светлость.

По знаку коменданта Лален дрожащей рукой отомкнул запор.

Стоя посреди круглой залы, Маргарита и Бланка ожидали посещения королевского посланца. Обе побледнели от волнения и, когда со скрипом открылась дверь, бессознательным движением прильнули друг к другу и схватились за руки.

Артуа оглядел их пронзительным взглядом. Он даже прищурился, чтобы лучше видеть своих кузин. Его массивная фигура заполняла весь проем двери.

– Вы, кузен! – воскликнула Маргарита.

И так как Робер не ответил, продолжая разглядывать двух этих женщин, которые его стараниями дошли до теперешнего своего жалкого положения, Маргарита заговорила снова. Голос ее сначала дрогнул, но она быстро справилась с собой и твердо произнесла:

– Смотрите на нас, кузен, да-да, смотрите лучше! И запомните, до какого жалкого состояния нас довели. Не правда ли, мало напоминает картины придворной жизни и прежних Маргариту и Бланку. Ни белья. Ни платьев. Ни еды. Нет даже табурета, чтобы предложить присесть такому дородному сеньору, как вы!

«Знают они или нет?» – думал Артуа, медленно приближаясь к принцессам. Дошел ли до них слух о той зловещей роли, какую он сыграл в их теперешней судьбе, сыграл из жажды

мести, из ненависти к матери Бланки, знают ли они, что это он помог английской королеве расставить западню, куда беспечно попались обе принцессы?

– Скажите, Робер, ведь вы принесли весть о нашем освобождении?!

Бланка, с губ которой сорвался этот крик, подбежала к гиганту, протягивая к нему руки, в глазах ее сияла надежда.

«Нет, ничего не знают, – решил Робер, – ну что ж, сейчас мне это на руку». Не ответив Бланке, он резко повернулся к коменданту.

– Берсюме, – спросил он, – разве здесь не топят?

– Нет, ваша светлость, полученные мною распоряжения…

– Немедленно затопить! А почему нет мебели?

– Потому что, ваша светлость, я…

– Принести немедленно мебель! А эту рухлядь выкинуть. Принести кровать, кресла, ковры на стену, светильники. И не вздумай говорить, что у тебя ничего нет! У тебя дома всего вдоволь, я сам видел! Вот оттуда пусть и принесут.

Схватив коменданта за локоть, Робер собирался было вытолкнуть его за дверь, словно последнего слугу.

– И еды тоже… – добавила Маргарита. – Скажите нашему милому стражу, который все это время кормил нас такой бурдой, что свиньи и те не стали бы ее есть, пусть распорядится насчет хорошего обеда.

– И еды, конечно! – подхватил Артуа. – Паштетов и жаркого, свежих овощей, варенья, зимних груш, только, смотри, хороших. И вина, Берсюме, побольше вина!

– Но, ваша светлость… – простонал комендант.

– Не смей дышать мне в лицо, – загремел Артуа, – от тебя конюшней разит!

Он выпихнул злосчастного Берсюме прочь из залы и ударом ноги захлопнул за ним дверь.

– Дорогие мои кузины, – начал он, – признаюсь, я ждал худшего; с огромным облегчением я убедился, что прискорбное заточение не нанесло ущерба двум самым хорошеньким личикам во всей Франции.

С этими словами он стащил с головы шляпу и склонился перед принцессами в низком поклоне.

– Нам все-таки удается мыться, – заметила Маргарита. – Воды-то хватает, только всякий раз приходится разбивать лед, потому что, пока сюда несут лохань, она по дороге замерзает.

Артуа присел на скамью и по-прежнему не спускал глаз с двух узниц. «Ах вы, мои пташечки, – думал он, ликуя, – будете теперь знать, какая судьба ждет даже королев, пожелавших отхватить кусок из наследства Робера Артуа». Разглядывая грубое, как власяница, одеяние принцесс, Робер старался угадать, сохранили ли они прежнюю гибкость и стройность стана. В эту минуту граф Артуа был похож на большого жирного кота, который, присев у мышеловки, тянет лапу, намереваясь поиграть с пленной мышкой.

– Скажите, Маргарита, – спросил он, – отросли ваши локоны? По-прежнему ли они пышны?

При этих словах Маргарита Бургундская вздрогнула всем телом. Щеки ее покрыла смертельная бледность.

– Встать, ваша светлость Робер Артуа! – гневно воскликнула она. – Пусть вы застали меня в самом жалком состоянии, но я отнюдь не намерена терпеть, чтобы мужчина сидел в моем присутствии, когда я сама стою на ногах.

Робер вскочил со скамьи, и на мгновение их взгляды скрестились. Маргарита не опустила глаз.

В неверном свете зимнего дня, пробивавшегося сквозь оконце, он только сейчас как следует разглядел Маргариту, разглядел ее лицо, так не похожее на прежнее, – настоящее лицо узницы. Черты сохранили свою былую красоту, но куда девалась их прелестная нежность?

Линия носа стала резче, глаза запали. Милые ямочки, которые еще прошлой весной играли на ее смугло-золотистых щечках, исчезли, и на их месте вырисовывались теперь две морщинки. «Смотри-ка ты, – удивился Артуа, – и еще пытается царапаться! Что ж, прекрасно, так оно будет даже забавнее». Он любил открытый бой и жаждал не просто победы, а борьбы, ведущей к победе.

– Кузина, у меня и мысли не было вас оскорбить, – сказал он с притворным добродушием, – вы меня не так поняли. Просто мне хотелось знать, достаточно ли отросли ваши кудри и можете ли вы по-прежнему появляться в свете.

При всей своей настороженной подозрительности Маргарита чуть не подпрыгнула от радости.

«…Появляться в свете… Итак, меня выпустят отсюда. Значит, я прощена? Значит, меня ждет престол Франции? Нет, если бы это было так, Артуа сразу бы мне об этом объявил…»

Все эти мысли вихрем промчались в ее голове, и Маргарита зашаталась; вопреки воле на глазах у нее выступили слезы.

– Робер, не томите меня, – сказала она. – Я знаю, это в ваших привычках, вы не меняетесь. Но не будьте жестокосердны. Что поручили вам мне сообщить?

– Я счастлив передать вам, кузина…

При этих словах Бланка пронзительно вскрикнула, и Роберу показалось, что сейчас она потеряет сознание. Но он не спешил закончить фразу: видя, что обе принцессы бьются, как рыбки на крючке рыболова, он испытывал истинное удовольствие.

– …послание, – добавил он.

И с тем же чувством радости он увидел, как уныло поникли их красивые личики, и услышал горький вздох разочарования.

– Послание от кого? – спросила Маргарита.

– От Людовика, вашего супруга, отныне короля Франции. А также от нашего дражайшего дядюшки его высочества Валуа. Но я хочу поговорить с вами наедине. Быть может, Бланка согласится оставить нас вдвоем?

– Конечно, конечно, – покорно произнесла Бланка, – я сейчас уйду. Но мне бы хотелось сначала узнать… как Карл, мой супруг?

– Кончина короля причинила ему огромное горе.

– А он вспоминает… меня? Говорит ли обо мне?

– Полагаю, он жалеет вас вопреки всем тем страданиям, что претерпел по вашей вине. После событий, разыгравшихся в Понтуазе, никто ни разу не видел на его лице прежней веселой улыбки.

Бланка залилась слезами.

– Как по-вашему, – произнесла она, – простит он меня или нет?

– Это во многом зависит от вашей кузины, – загадочно ответил Артуа, указывая на Маргариту.

Он довел Бланку до порога и сам захлопнул за ней дверь.

Потом повернулся к Маргарите:

– Прежде всего, моя прелесть, я должен ввести вас хоть отчасти в курс дела. В последние дни, когда король Филипп находился в агонии, Людовик, ваш супруг, совсем потерял голову. Лечь спать принцем и проснуться наутро королем – это, согласитесь сами, немалое испытание. Ведь, как известно, он лишь номинально считался королем Наваррским, и там отлично управлялись без него. Вы возразите мне, что ему уже двадцать пять лет и что в таком возрасте можно править страной; но вы так же хорошо, как и я, знаете, что решительность и здравомыслие не входят в число добродетелей Людовика, не в обиду ему будь сказано. Итак, сейчас на первых порах помогает Людовику и вершит государственные дела его дядя Валуа вместе с Мариньи. К сожалению, эти два выдающихся мужа недолюбливают друг друга именно вследствие вза-

имного сходства, и каждый пропускает мимо ушей советы другого. Существует мнение, что вскоре они вообще перестанут слушать друг друга, и весьма прискорбно, если такое положение продлится, ибо не могут же управлять государством два безнадежно глухих человека.

Всю эту тираду Артуа произнес совсем иным тоном, чем в начале беседы. Говорил он четко, ясно, и Маргарите невольно пришло на ум, что его шумное появление было лишь притворством, комедией.

– Я лично не особенно-то люблю мессира де Мариньи, который мне немало навредил, – продолжал Робер, – и от души желаю, чтобы мой кузен Валуа, чьим другом и союзником я имею честь состоять, взял верх над коадъютором.

Маргарита с трудом улавливала тайный смысл этих интриг, в атмосферу которых, не дав ей опомниться, ввел ее Робер, не мысливший себе существования без придворных козней. За семь месяцев, прошедших со дня заточения, до Маргариты не доходили вести из прежнего мира, и теперь ей казалось, что ум ее просыпается от долгой спячки.

Со двора даже сквозь толстые стены доносились крики Берсюме, командовавшего операцией по расхищению своего собственного имущества.

– Людовик меня по-прежнему ненавидит, не так ли? – спросила Маргарита.

– Совершенно справедливо, ненавидит, и сильно, не буду скрывать! Но, признайтесь, есть за что вас ненавидеть, – ответил Артуа, – ибо пара рогов, которыми вы увенчали его чело, весьма мешает возложению короны! Заметьте, кузина, что, будь на его месте, к примеру, я и если бы вы со мной так поступили, я не стал бы подымать шум на все французское государство. Я бы задал вам такую порку, что навсегда отбил бы у вас охоту к подобным приключениям, или же…

Он бросил на Маргариту загадочный взгляд, и она невольно затрепетала от страха.

– …или же сумел бы вести себя так, что моя честь была бы спасена. Но поскольку покойный король, ваш свекор, судил, без сомнения, иначе, произошло то, что произошло.

Надо было иметь недюжинную наглость, чтобы открыто сожалеть о разразившемся по его милости скандале, тем паче что он сам приложил к тому немало усилий и трудов.

– Первой мыслью Людовика после кончины короля, вернее, его единственной мыслью – ибо не думаю, чтобы он мог иметь разом несколько мыслей, – было и осталось, как бы выйти из того смешного и стеснительного положения, в которое он попал по вашей милости, и смыть позор, каким вы его покрыли.

– Чего же хочет Людовик? – спросила Маргарита.

Артуа, не отвечая, махнул своей огромной ножищей, словно намереваясь отшвырнуть невидимый камень.

– Он хочет требовать расторжения вашего брака, – ответил Робер, – и, как видите, хочет немедленно, поскольку отрядил меня сюда.

«Значит, не быть мне королевой Франции», – подумала Маргарита. Мечты, нелепые, безумные мечты, которым она предавалась со вчерашнего дня, разлетелись прахом. Один день мечтаний за семь долгих месяцев заключения… один на всю дальнейшую жизнь!

В эту минуту в залу вошли двое лучников с охапкой дров и связкой хвороста. Когда, затопив камин, они удалились, Маргарита заговорила. В голосе ее прозвучала усталость:

– Ну хорошо, предположим, он требует расторжения нашего брака, но чем я-то могу ему помочь?

И она протянула руки к пламени, весело потрескивавшему в очаге.

– Ах, кузина, как раз вы-то и можете многое, вам будут очень признательны, от вас ждут жеста, который вам ничего не стоит сделать. Видите ли, считается, что измена одного из супругов недостаточный повод для расторжения брака: пусть это нелепо, но это так. Вы могли бы вместо одного любовника иметь хоть целую сотню и развлекаться со всеми мужчинами французского государства и тем не менее продолжали бы считаться супругой человека, с которым

вас соединил Бог. Спросите вашего капеллана или кого вам будет угодно – это именно так. Мне самому это несколько раз объясняли, ведь я не особенно-то силен в церковных делах: брак не может быть расторгнут, и, если его все-таки желают расторгнуть, необходимо доказать, что имелись непреодолимые помехи к его действительному осуществлению или что он не был совершен – иными словами, не имел места. Вы меня слушаете?

– Да-да, – отозвалась Маргарита.

Теперь уже речь шла не о государственных делах, а о ее личной судьбе, и она жадно впитывала каждое слово, старалась удержать его в памяти.

– Вот поэтому, – продолжал гигант, – его высочество Валуа и придумал следующий способ вызволить из затруднения своего племянника.

Он помолчал, откашлялся.

– Вы признаете, что ваша дочь, принцесса Жанна, рождена не от Людовика; вы признаете также, что всегда отказывали вашему мужу в супружеской близости, и, таким образом, ваш брак нельзя считать браком. Вы просто заявите об этом в моем присутствии и в присутствии капеллана, который скрепит ваши показания своей подписью. Среди ваших бывших слуг или домашних, безусловно, легко можно будет найти свидетелей, и они подтвердят все, что надо. Таким образом, брачные отношения становятся недействительными, и расторжение брака произойдет само собой.

– А что предлагают мне в обмен на эту… ложь? – спросила Маргарита.

– В обмен на эту… любезность, – ответил Робер Артуа, – вам предлагают следующее: вас доставят в герцогство Бургундское, где вы будете находиться в монастыре вплоть до полного и официального расторжения брака, а затем живите с Богом, как вам будет угодно или как будет угодно вашему семейству.

В первую минуту с уст Маргариты уже готов был сорваться ответ: «Хорошо, я согласна; я объявлю все, что вам угодно, подпишу любую бумагу, при одном условии: что меня немедленно вызволят отсюда». Но она сдержалась, заметив, что Артуа следит за ней краешком глаза, напустив на себя самый добродушный вид, столь не вязавшийся с его внешним обликом; и внутреннее чутье подсказывало Маргарите, что все это делается с единственной целью – усыпить ее бдительность. «Я подпишу, а они меня отсюда не выпустят», – подумала она.

Люди двуличные всегда склонны подозревать другого в том же пороке. Но на сей раз Артуа сказал чистую правду: он действительно приехал предложить королеве честную сделку и получил даже приказ привезти с собой пленницу, если она согласится объявить все, что от нее требуют.

– Но ведь меня понуждают совершить огромный грех, – произнесла Маргарита.

Артуа так и покатился со смеху.

– Да бросьте, кузина, – воскликнул он, – вы, если не ошибаюсь, грешили в своей жизни немало и никогда не испытывали особых угрызений совести.

– Я ведь могла перемениться, почувствовать раскаяние. Прежде чем принять решение, я должна хорошенько поразмыслить.

Гигант, скривив губы, скорчил забавную гримасу.

– Пусть будет по-вашему, кузина, только предупреждаю, думайте быстрее, – сказал он, – ибо завтра же я должен вернуться в столицу, где в соборе Парижской Богоматери состоится торжественная заупокойная месса. Двадцать три мили не пустяк, я отобью себе весь зад, если даже поеду кратчайшим путем. При здешних дорогах, где лошади по бабки увязают в грязи – особенно сейчас, когда солнце встает поздно, а садится рано, – да и пересмена лошадей в Манте тоже отнимает немало времени, я не могу мешкать и предпочел бы не делать такого пути впустую. Прощайте. Пойду сосну часок, а потом откушаю с вами. Само собой разумеется, кузина, я составлю вам компанию в сей знаменательный день, когда вам наконец-то соблаговолят дать хороший обед. И уверен, вы примете нужное решение.

С этими словами Робер, смерчем ворвавшийся в темницу Маргариты, покинул ее так же шумно, ибо наш гигант любил эффектно появиться на сцене и столь же эффектно уйти с подмостков; на лестнице он чуть было не сшиб с ног Толстого Гийома, который, обливаясь потом и согнувшись в три погибели, тащил наверх огромный сундук.

Через минуту Робер Артуа уже влетел в почти опустевшее жилище коменданта и тут же рухнул как подкошенный на единственное оставшееся там ложе.

– Берсюме, дружок, смотри, чтобы через час обед был готов, – сказал он. – А теперь кликни моего слугу Лорме, он торчит где-нибудь среди конюших, и пошли его сюда охранять мой сон.

Этот не знавший страха геркулес боялся лишь одного – попасть безоружным в руки многочисленных врагов. Охрану своей драгоценной персоны он доверял не оруженосцам или конюшим, а верному Лорме, приземистому седеющему слуге, повсюду следовавшему за хозяином по пятам якобы для того, чтобы носить за ним плащ и шляпу.

Обладавший недюжинной для своих пятидесяти лет силой, способный на все, лишь бы только услужить «его светлости Роберу», Лорме был тем более опасен, что внешний его вид не вызывал подозрений. Особенно же он набил себе руку в молниеносном и незаметном устранении неугодных хозяину людей, поставлял в господские покои девиц, вербовал для графских нужд всякий сброд и стал преступником не по природной склонности, а из рабской угодливости перед своим господином: этот хладнокровный убийца опекал Робера с нежностью няньки.

К тому же Лорме, в силу врожденной хитрости умевший, как никто, прикинуться дурачком, был незаменимым соглядатаем и сыграл не последнюю роль в поимке братьев д'Онэ, которые попались в западню Робера Артуа чуть ли не у входа в Нельскую башню.

Если Лорме спрашивали о причинах столь пылкой его привязанности к графу Артуа, он пожимал плечами и ворчливо пояснял: «Да ведь из любого его старого плаща я могу себе целых два скроить».

Когда Лорме вошел в жилище коменданта, Робер спокойно смежил веки и тут же уснул богатырским сном, широко раскинув свои огромные руки и ноги; при каждом вздохе этого великана мерно подымалось и опускалось его объемистое чрево.

Через час он проснулся, потянулся, как огромный тигр, и вскочил с постели, отдохнувший телом и душой.

Круглоголовый Лорме сидел у него в изголовье на табуретке с кинжалом на коленях: прищурив глаза, он с нежностью следил за пробуждением своего господина.

– А теперь ложись ты, мой добрый Лорме, – сказал Артуа, – только пришли мне раньше капеллана.

Глава III
Последний шанс стать королевой

Опальный доминиканец не замедлил явиться на зов графа; он не скрывал своего волнения, и немудрено – его потребовал к себе для частной беседы столь знатный вельможа.

– Брат мой, – обратился к нему Артуа, – вы, должно быть, хорошо изучили ее величество Маргариту, коль скоро являетесь ее исповедником. Какое, по вашему мнению, ее самое уязвимое место?

– Плоть, ваша светлость, – ответил капеллан, скромно потупив глаза.

– Это-то мы сами давно знаем! Нет ли чего-нибудь еще… например, какого-нибудь особенного чувства, на котором можно было бы сыграть, дабы внушить ей кое-какие соображения, вполне совпадающие как с ее интересами, так и с интересами королевства?

– Не обнаружил таковых, ваша светлость. Нет в ней, по моим наблюдениям, ничего, что могло бы поддаться… за исключением того, о чем я упоминал выше. Душа у этой принцессы тверже дамасского клинка, и даже узилище не сломило ее. Поверьте моей совести, нелегко вести такую душу путем покаяния!

Сцепив руки в рукавах сутаны, почтительно склонив высоколобую голову, капеллан старался произвести на королевского посланца впечатление человека благочестивого, но ловкого. Он давно уже не выстригал себе тонзуры, и кожа черепа, просвечивающая среди венчика жиденьких черных волос, покрылась синеватым пухом.

Артуа задумался, потом поскреб себе щеку, ибо череп священнослужителя напомнил ему о том, что сам он тоже давно уже не брился.

– А в том пункте, о котором вы говорили, – начал он, – имела здесь принцесса случай удовлетворить свою… слабость, уж если вам угодно называть таким словом одну из самых основных сил природы?

– Насколько я знаю, ваша светлость, нет.

– А как насчет Берсюме? Ни разу не засиживался он у принцессы дольше положенного?

– Никогда, ваша светлость, готов поручиться.

– Ну а… вы сами?

– Что вы, ваша светлость! – воскликнул капеллан, осеняя себя крестным знамением.

– Ну-ну! – перебил его Артуа. – Такие дела случаются сплошь и рядом, и, когда ваши досточтимые собратья снимают сутану, они такие же мужчины, как и все прочие, я-то уж знаю. Впрочем, не вижу в этом ничего предосудительного, скорее хвалю. Ну а как насчет ее кузины? Может быть, дамы находят утешение в обществе друг друга?

– О ваша светлость! – снова воскликнул капеллан с преувеличенно испуганным видом. – Вы требуете, чтобы я выдал вам тайну исповеди.

Артуа дружески хлопнул своего собеседника по плечу, отчего тот отлетел к противоположной стене.

– Ну-ну, мессир капеллан, не шутите так, – загремел он. – Если вас послали исполнять должность тюремного священнослужителя, то вовсе не затем, чтобы хранить тайны исповеди, а затем, чтобы сообщать их по мере надобности.

– Ни мадам Маргарита, ни мадам Бланка ни разу не признавались мне в подобных грехах, у них и в мыслях ничего подобного не было, – вполголоса ответил капеллан.

– Что отнюдь не доказывает их невинности, а свидетельствует лишь об их осторожности. Писать умеете?

– Конечно, ваша светлость.

– Вот как! – удивился Артуа. – Стало быть, вовсе не все монахи такие отпетые невежды, как говорят!.. Так вот, мессир капеллан, вы сейчас возьмете пергамент, перья – словом, все

необходимое для того, дабы нацарапать письмо, будете ждать внизу башни, где заключены принцессы, и подыметесь в залу по первому моему зову. Только смотрите поторапливайтесь.

Капеллан отвесил низкий поклон, – казалось, он хотел было что-то добавить, но Артуа уже закутался в свой пурпуровый плащ и вышел. Священник бросился вслед за ним.

– Ваша светлость, ваша светлость! – заискивающе произнес он. – Не будете ли вы так добры – конечно, если вас не оскорбит моя нижайшая просьба, – не будете ли вы так добры напомнить при случае брату Рено, Великому инквизитору, что я по-прежнему остаюсь покорнейшим его слугою, и пусть он не забудет, что уже давно томлюсь я в этой крепости, где исполняю со всем тщанием свои обязанности, коль скоро Господь Бог привел меня сюда; но и я могу на что-нибудь быть полезен, ваша светлость, ведь вы сами только что могли в этом убедиться, пусть испытают мои способности на каком-нибудь другом посту.

– Подумаю, дружок, подумаю, – ответил Артуа, хотя он отлично знал, что и пальцем не пошевелит, чтобы помочь капеллану.

Когда Робер явился в комнату Маргариты, принцессы еще не совсем закончили свой туалет: сначала они долго и усердно мылись перед камельком теплой водой и мыльным корнем, который им принесли, и старались продлить это давно забытое наслаждение; обе вымыли друг другу голову, и в их коротеньких волосах еще блестели жемчужинами капли воды, затем надели длинные белые рубашки, собранные у ворота на шнурке. При виде графа Артуа обе испуганно и стыдливо бросились в угол.

– Ох, кузиночки, да не пугайтесь вы, не обращайте на меня внимания. Оставайтесь в чем есть. Мы как-никак родственники, да и рубашки эти не столь откровенны, как те платья, в которых вы спокойно появлялись при дворе. Сейчас вы похожи, скорее всего, на монашек. И вид у вас гораздо лучше, чем час назад, да и краски понемногу вернулись. Признайтесь же, что не успел я приехать, как ваша участь уже повернулась к лучшему.

– О, спасибо, кузен! – воскликнула Бланка.

Неузнаваемо преобразилась и комната. По распоряжению Артуа сюда внесли кровать с пологом, два сундучка, долженствующие служить сиденьями, настоящий стул со спинкой и стол, на котором уже были расставлены миски, чарки и вино, – все это из личных владений Берсюме. Самый осклизлый кусок ниши завесили тканью, правда уже потерявшей свой первоначальный цвет. Толстая свеча, позаимствованная из ризницы, горела на столе, ибо, хотя до вечера еще было далеко, день за окном заметно угасал; в камине с высоким остроконечным колпаком весело пылали толстые поленья, и на почерневшей их коре с мелодичным шипением проступили пузырьки влаги.

Вслед за Робером в комнату вошел Лален в сопровождении Толстого Гийома и еще одного лучника: по приказанию коменданта они принесли горячую, дымящуюся похлебку, большой хлеб, круглый, как пирог, паштет весом не меньше пяти фунтов с аппетитно подрумяненной корочкой, жареного зайца, гусиные полотки и пяток сочных зимних груш; эти груши Берсюме раздобыл у одного садовода в Андели, и то после того, как пригрозил смести с лица земли весь городок.

– Как, – вскричал Артуа, – и это все? Однако ж коменданту хорошо известно, что я велел подать хороший обед.

– Чудо еще, что и такую снедь удалось раздобыть, ваша светлость, ведь кругом голод, – отозвался Лален.

– Возможно, смерды и голодают, потому что они бездельники и лодыри, они, видите ли, хотят снимать обильные урожаи, а самим лень лишний раз поле пробороннить. Но чтобы голод смел коснуться людей благородного происхождения, это уж простите! – воскликнул Артуа. – Впервые после того, как отняли меня от материнской груди, я вынужден довольствоваться столь скудной трапезой.

Обе принцессы жадно, как проголодавшиеся зверьки, смотрели на расставленные на столе яства, которые Артуа поносил с умыслом, желая дать почувствовать кузинам все убожество их теперешнего удела. На глаза Бланки навернулись слезы. Трое лучников, как зачарованные, не могли отвести взгляда от соблазнительной картины.

Толстый Гийом, раздобревший разве что на ржаной похлебке, обычно прислуживал коменданту во время трапезы, и потому он робко приблизился к столу с намерением нарезать хлеб.

– Не смей прикасаться к хлебу своими грязными ручищами! – заревел Артуа. – Без тебя нарежем. А ну, катитесь отсюда, пока я вас не вышвырнул!

Конечно, можно было позвать для услуг Лорме, но Робер свято чтил сон своего телохранителя – пожалуй, единственное, что чтил он на этом свете. Можно было также кликнуть кого-нибудь из конюших, но Артуа предпочитал действовать без свидетелей.

Когда лучники исчезли за дверью, он обратился к принцессам.

– Придется, видно, и мне понемножку привыкать к тюремной жизни, – сказал он тем шутливым тоном, каким и в наши дни говорят избалованные богатством люди, когда им приходится самим принести из кухни блюдо или вымыть тарелку. – Как знать, – добавил он, – возможно, в один прекрасный день вы, кузиночки, чего доброго, запрячете меня в тюрьму.

Он подвел Маргариту к единственному стулу.

– А мы с Бланкой посидим на скамье, – сказал он.

Затем разлил вино и, подняв чарку, обратился к Маргарите:

– Да здравствует королева!

– Не насмехайтесь надо мной, кузен, – умоляюще сказала Маргарита. – Это невеликодушно с вашей стороны.

– Я вовсе не насмехаюсь, и примите мои слова так, как их должно принять. На сей день, насколько мне известно, вы еще королева, и я просто желаю вам долгой жизни.

Вслед за этими словами воцарилось молчание, ибо принцессы и их гость принялись за еду. Будь на месте Робера любой другой человек, он неминуемо почувствовал бы жалость при виде этих двух женщин, набросившихся на еду с жадностью уличных побирушек.

В первую минуту Маргарита и Бланка старались еще хранить за столом равнодушный вид, как то предписывает светский этикет; но голод оказался сильнее правил утонченного воспитания, и теперь они усердно работали челюстями и останавливались лишь затем, чтобы перевести дух между двумя глотками.

Артуа подцепил зайца на кончик кинжала и поднес к огню, чтобы разогреть жаркое. Поглощенный этим занятием, он, однако, краешком глаза поглядывал на своих кузин и еле сдерживал смех, рвущийся из его глотки: «А что, если взять да поставить миски с едой прямо на землю, ей-богу, они опустятся на четвереньки, все половицы вылижут».

Принцессы не только ели, но и пили. Пили вино из подвалов коменданта Берсюме, пили с таким видом, словно желали вознаградить себя за семь месяцев лишений, когда приходилось утолять жажду одной холодной водой. Щеки их разгорелись неестественным румянцем. «Они, пожалуй, еще разболеются, – думал Артуа, – и этот праздник, того и гляди, кончится для них желудочными коликами».

Но и сам он ел за целый легион. Недаром о его непомерном аппетите ходили легенды, и каждый кусок, который он непринужденно посылал себе в рот, обыкновенный человек смог бы проглотить, лишь разрезав предварительно на четыре части. Даже гусиные полотки ел он с костями, словно то была маленькая пичужка. Робер смиренно извинился перед дамами, что не рискует расправиться подобным манером с костями, оставшимися от зайчатины.

– Заячьи кости, – пояснил он, – слишком остры и могут прорвать человеку внутренности.

Когда голод был утолен, Робер взглянул Бланке в глаза и указал ей кивком на дверь. Та безропотно поднялась с места, хотя ноги отказывались ей служить, голова кружилась и мучи-

тельно хотелось одного – немедленно добраться до постели. Глядя на нее, Робер впервые за все свое пребывание в Шато-Гайаре ощутил какое-то почти человеческое чувство. «Если она сейчас попадет на холод, – подумал он, – непременно помрет от удара».

– У вас-то хоть тоже затопили? – спросил он.

– Да, спасибо, кузен, – отозвалась Бланка. – Наша жизнь…

Но ее слова прервала самая вульгарная икота.

– …наша жизнь действительно переменилась благодаря вам. Ах, я так вас люблю, кузен, так сильно люблю. Вы ведь скажете Карлу… ведь скажете, что я его люблю, пусть он простит меня, раз я его так люблю.

В эту минуту Бланка искренне любила весь род людской. Она опьянела от выпитого вина и с трудом взобралась к себе по лестнице, оступаясь на каменных ступенях. «Жалко, что я не приехал сюда поразвлечься, – подумал Артуа, – эта не особенно бы долго сопротивлялась… Напоите хорошенько любую принцессу – и через полчаса вы не отличите ее от обычной потаскушки. Да и другая, на мой взгляд, вполне готова!»

Робер подбросил в камин толстое полено, повернул к огню стул Маргариты, наполнил чарки вином.

– Ну, кузина, – начал он, – думали ли вы над моим предложением?

– Думала, Робер, долго думала. И боюсь, что мне придется отказать вам.

Эти слова Маргарита произнесла несвойственным ей кротким тоном. Казалось, ее совсем разморило от тепла и вина, и голова ее невольно клонилась на грудь.

– Послушайте, кузина, вы говорите просто безрассудные вещи! – возмутился Робер.

– Отнюдь нет! Боюсь, что мне придется вам отказать, – повторила Маргарита слегка насмешливым тоном, чуть-чуть растягивая слова.

Робера даже передернуло от нетерпения.

– Маргарита, выслушайте меня хорошенько, – промолвил он. – Согласиться на мое предложение – для вас прямая выгода. Людовик от природы нетерпелив и готов на все, лишь бы получить немедля то, что ему загорелось получить. Сейчас или никогда. Вряд ли вам еще представится в будущем столь выигрышный случай. Согласитесь подтвердить то, что у вас просят. Ваше дело не будет разбираться Святейшим престолом; оно пройдет через епископский суд города Парижа, который подчинен Жану де Мариньи, архиепископу Санскому, а его – не беспокойтесь – сумеют поторопить. Не пройдет и трех месяцев, как вы получите полную свободу.

– Или же?

Маргарита сидела, слегка нагнувшись над пламенем камина, протянув обе руки к его живительному теплу. Шнурок, стягивавший вырез рубашки, ослабел, и кузен мог беспрепятственно любоваться ее шеей. Но Маргарита, казалось, не замечала этого. «А у нашей разбойницы и сейчас грудь хоть куда», – подумал Робер.

– Или же? – повторила Маргарита.

– В противном случае ваш брак, душечка, все равно будет аннулирован, ибо не так уж трудно найти мотив для того, чтобы аннулировать королевский брак, – небрежно ответил Артуа, которого в эту минуту куда больше интересовало то, что он видел, нежели то, что он слышал. – Особенно если у нас будет папа…

– Как? Значит, папы до сих пор нет?! – воскликнула Маргарита.

Артуа досадливо прикусил губу: он совершил непростительный промах. Как мог он думать, что заключенная в четырех стенах крепости Маргарита знает то, что знает весь мир, – другими словами, что со дня смерти Климента V конклав так и не решился назвать нового претендента на папский престол! Какое мощное оружие дал Робер в руки врага! Недаром же так живо откликнулась на его слова Маргарита, которая, видно, вовсе не столь пьяна, как хочет казаться.

Поняв, что ошибка уже совершена, Робер попытался обернуть ее себе на пользу и смело повел игру, в которой не знал соперников, – игру в прямодушие.

– Конечно, вам это на руку! – воскликнул он. – И это-то я и хотел вам дать понять. Как только наши пройдохи-кардиналы, у которых чести не больше, чем у барышников на ярмарке, продадут свои голоса и договорятся между собой, вы Людовику будете уже не нужны. Вы добьетесь только одного: Людовик возненавидит вас еще больше и заточит здесь навсегда.

– Да, но пока нет папы, без моего согласия ничего поделать нельзя.

– С вашей стороны глупо так упорствовать.

Робер подсел к Маргарите, обнял ее за шею, начал осторожно гладить плечо.

Прикосновение этой сильной руки, казалось, взволновало Маргариту. Уже давно, слишком давно ее не касалась мужская рука!

– Вам-то какая выгода от моего согласия? – кротко спросила она.

Артуа нагнулся, и губы его коснулись ее темных кудряшек.

– Я ведь люблю вас, Маргарита, вы сами знаете, я всегда вас любил. А сейчас наши интересы совпадают. Вам нужно обрести свободу, а я хочу угодить Людовику и тем добиться его расположения. Так что, как видите, мы с вами союзники.

С каждым словом рука Робера все смелее ласкала плечи королевы Франции и, не встречая сопротивления с ее стороны, беззастенчиво касалась груди. А Маргарита, откинув головку на мощную длань своего родича, погрузилась в какие-то свои мечты.

– Разве не жалко, что столь великолепное тело, такое нежное и совершенное, лишено самых естественных развлечений? Дайте согласие, Маргарита, и в тот же день я увезу вас с собой, далеко от этой проклятой тюрьмы: сначала я доставлю вас в какой-нибудь монастырь, где не придерживаются особо строгого устава и где я смогу часто посещать вас и вас охранять… Что вам, в самом деле, стоит объявить, что ваша дочь не от Людовика, ведь вы никогда не любили своего ребенка?

Маргарита вскинула на Робера томный взор и произнесла страшные слова:

– Если я не люблю свою дочь, не лучшее ли это доказательство того, что она рождена мной от мужа?

С минуту Маргарита сидела молча, устремив мечтательный взгляд куда-то вдаль. В очаге с грохотом рухнули обгоревшие поленья, и поднявшиеся вихрем искры на минуту осветили всю комнату. Вдруг Маргарита расхохоталась, обнажив в смехе маленькие белые зубы; нёбо и язычок у нее были совсем розовые, как у котенка.

– Почему вы смеетесь? – спросил Робер.

– Меня рассмешил здешний потолок, – ответила Маргарита. – Я только сейчас заметила, что он как две капли воды похож на потолок в Нельской башне.

Артуа поднялся с места. Он был поражен, но не мог подавить чувства невольного восхищения перед этим неприкрытым цинизмом, смешанным с хитростью. «Вот это женщина!» – подумал он.

Теперь Маргарита глядела во все глаза на своего гостя, оценивающим взглядом окинула она его огромную фигуру, загораживающую камин и прочно водруженную на могучих, как ствол дуба, ногах. Отблески пламени играли на его красных сапогах, в полумраке комнаты причудливо вспыхивали то золотые шпоры, то серебряный пояс. Если и пыл его так же велик, то вполне можно забыть лишения и горести полугодового затворничества.

Робер легко поднял ее со стула, привлек к себе.

– Ах, кузина, – проговорил он. – За меня, вот за кого вам следовало бы выйти замуж или, по крайней мере, взять меня себе в любовники вместо того щенка-конюшего. Мы с вами были бы счастливы, и ваша судьба не сложилась бы так печально.

– Охотно верю, – шепнула она.

Артуа продолжал держать Маргариту за талию, и ему подумалось, что еще мгновение – и она потеряет ясность мысли.

– И сейчас еще не поздно, – в тон ей шепнул он.

– Возможно, вы и правы, – ответила она прерывистым голосом, в котором прозвучала несвойственная ей покорность.

– Так давайте же сначала покончим с этим письмом, чтобы ничто не мешало нам думать друг о друге. Кликнем капеллана, он ждет внизу.

Резким движением Маргарита высвободилась из объятий гиганта.

– Кто ждет внизу? – вскричала она, и глаза ее загорелись гневом. – Ах, кузен, неужели вы и впрямь считаете меня такой дурочкой? Вы, видно, решили действовать со мной на манер тех девиц, которые уверены, что мужчина в их объятиях лишается собственной воли. Но вы забыли только одно: в таких делах женщина сильнее мужчины, да и сами вы к тому же еще только подмастерье в любовной науке.

Выпрямив свой стройный стан, она бросала ему вызов прямо в лицо и вдруг, как бы вспомнив о чем-то, нервным движением рук затянула шнурок у ворота рубахи.

Напрасно Робер пытался уверить Маргариту, что она его не так поняла, что он действовал единственно во благо ей, что их разговор принял такой оборот совершенно неожиданно для него самого, что он совершенно случайно вспомнил о том, что несчастный капеллан мерзнет там на лестнице…

Маргарита смотрела на гиганта презрительно-насмешливым взглядом. Вдруг он схватил ее на руки и, не обращая внимания на отчаянное сопротивление, понес свою жертву к постели.

– Нет, я все равно не подпишу! – кричала Маргарита, стараясь вырваться из его железных объятий. – Если вам угодно, можете действовать силой, я, конечно, слабее вас и не могу сопротивляться, но я расскажу капеллану, расскажу Берсюме, сумею довести до сведения Мариньи, какого посланца они направили ко мне, как подло вы воспользовались моим состоянием.

Робер отпустил свою добычу; он дошел до полного бешенства и с трудом удержался, чтобы не надавать Маргарите пощечин.

– Никогда, слышите, никогда, – продолжала она, – никогда вы не принудите меня заявить, что моя дочь не от Людовика, ибо, если Людовик умрет, чего я желаю всей душой, моя дочь наследует французский престол, и тогда вам всем придется считаться со мной как с королевой-матерью.

Несколько мгновений Артуа стоял в нерешительности. «А ведь чертова шлюха правильно рассудила, – думал он, – и если выйдет так, как она надеется…» Укрощенный ее словами, Робер смирился.

– Шанс невелик, – рискнул, однако, заметить он.

– Велик или мал, другого у меня нет, и я не желаю упускать его.

– Как вам будет угодно, кузина, – ответил Робер, направляясь к двери.

При мысли о двойном поражении он не мог сдержать ярости, кипевшей в сердце. Вихрем слетел он вниз по лестнице и увидел на нижней площадке капеллана, еле живого от холода, смиренно поджидавшего графского зова с пучком гусиных перьев в руке.

– Ваша светлость, – начал монах, – так не забудьте же сказать брату Рено…

– Конечно не забуду, – прогремел в ответ Артуа, – скажу ему, что вы настоящий осел, милейший братец! Не знаю, черт бы вас побрал, где это вы находите слабые места у ваших исповедниц.

Потом он зычно крикнул:

– Эй, конюшие! Седлать коней!

Перед ним как из-под земли вырос комендант Берсюме в своем железном шлеме, с которым он так и не расставался с самого утра.

– Какие будут распоряжения, ваша светлость? – спросил он.

– Каких тебе еще распоряжений? Исполняй те, что были даны раньше.

– А моя мебель?

– Плевать я хотел на твою мебель!

Конюший уже подвел к Роберу великолепного нормандского скакуна, Лорме придерживал стремя.

– А деньги за обед, ваша светлость? – осмелился напомнить Берсюме.

– Пусть раскошеливается мессир Мариньи, требуй с него свои деньги! Эй, живо опускайте мост!

Одним рывком Артуа вскочил в седло и с места поднял коня в галоп, за ним поскакала его свита.

Вскоре кавалькаду поглотила ночная мгла, и только искры, высекаемые конскими копытами, отмечали путь всадников, спускавшихся к долине по склонам утеса.

Глава IV
Да здравствует король!

Пламя сотен восковых свечей, расставленных вдоль пилонов, бросало дрожащий свет на гробницы французских королей; когда его неверный отблеск падал на удлиненные каменные лица, по ним точно проходил трепет пробуждения, и чудилось, будто среди огненного леса уснул по мановению волшебной палочки строй рыцарей.

Весь двор собрался в базилике Сен-Дени, усыпальнице французских королей, где происходило сегодня погребение Филиппа Красивого.

Выстроившись в ряд у главного нефа, лицом к новой могиле, безмолвно стоял весь клан Капетингов в пышных траурных одеяниях: здесь были принцы крови, пэры, прелаты, члены Малого совета, высшее духовенство, коннетабль, высшие государственные сановники[4].

Главный церемониймейстер королевского дома в сопровождении пяти придворных торжественным шагом приблизился к зияющей могиле, куда уже опустили гроб Филиппа, бросил в яму резной жезл – знак своего достоинства – и изрек традиционные слова, означавшие, что престол Франции перешел к новому государю:

– Король умер! Да здравствует король!

Вслед за ним возгласили и все присутствующие:

– Король умер! Да здравствует король!

Этот крик, вырвавшийся из сотен грудей, послушно отраженный стрельчатыми арками и пролетами, еще долго гудел под высокими сводами базилики.

---

[4] *…высшие государственные сановники*. – В начале XIV в. тремя первыми по рангу должностными лицами короны были: коннетабль Франции (высший военачальник), канцлер Франции (ведавший правосудием, церковными и иностранными делами) и главный дворецкий королевского дома.Коннетабль по праву заседал в Малом совете, имел свои покои при дворе и должен был следовать за королем во всех его передвижениях. Он получал в мирное время, помимо натурального довольствия, 25 су парижской чеканки в день и 10 ливров в каждый праздник. В военное время или когда он просто был в поездке с королем, это содержание удваивалось. Кроме того, в каждый день боевых действий, если король находился при войске, коннетабль получал добавочных 100 ливров. Все, что находилось в крепостях или замках, взятых у неприятеля, принадлежало коннетаблю, за исключением золота и пленников, которые доставались королю. Коней, захваченных у противника, он выбирал себе сразу после короля. Если этот последний не присутствовал при взятии крепости, то над ней поднимали стяг коннетабля. На поле битвы без совета и приказов коннетабля даже сам король не мог ни наступать, ни атаковать. Еще он обязательно присутствовал при коронации, подле короля. В царствование Филиппа Красивого и трех его сыновей, равно как и в первый год правления Филиппа VI Валуа, коннетаблем Франции был Гоше де Шатийон, граф де Порсьен, умерший в 1329 г. на восьмидесятом году жизни.Канцлер Франции, вместе с вице-канцлером и нотариусами, которые были клириками королевской домовой церкви, имел обязанность составлять акты и прилагать к ним королевскую печать, хранителем которой являлся (откуда его второй титул хранителя печати). Он заседал в Малом совете и в собрании пэров. Был главой судебного ведомства, руководил всеми юридическими комиссиями и высказывался от имени короля на заседаниях парламента с участием государя. Канцлер по традиции был лицом духовного звания. Когда в 1307 г. Филипп Красивый сместил своего канцлера, епископа Нарбоннского, и передал печати Гийому де Ногаре, то этот последний, не будучи человеком церкви, именовался не канцлером, а получил созданный нарочно для него титул «генерального секретаря королевства». Мариньи же был назначен «генеральным коадъютором и ректором королевства». Канцлером Людовика X был с начала 1315 г. Этьен де Морне, каноник Оксерский и Суассонский, бывший до того канцлером графа де Валуа.Главный дворецкий, названный позже гран-мэтром Франции, руководил всем персоналом, состоявшим на службе государя, как дворянами, так и простолюдинами; под его же началом состоял казначей, который вел счета королевского дома и учет обстановки, тканей и гардероба. Заседал в Совете.Были еще глава арбалетчиков, подчинявшийся коннетаблю, и главный шамбеллан (камергер). Главный шамбеллан отвечал за оружие и одежду короля, был обязан находиться близ него и днем и ночью, «когда при государе нет королевы». Хранил тайную печать, мог от имени короля получать почести и принимать присяги в верности. Организовывал церемонии, где король посвящал новых рыцарей, заведовал личной казной короля, присутствовал в собрании пэров. Поскольку он отвечал за королевский гардероб, то в его ведении были галантерейщики и все занимавшиеся одежными ремеслами; он заказывал чиновнику, называвшемуся «королем галантерейщиков» и проверявшему точность мер и весов, весы и меры длины.Были, наконец, и другие должности, со временем ставшие всего лишь почетными званиями, но дававшие все же доступ в Королевский совет. Таковыми были должности главного спальника, главного кравчего и главного хлебодара, которые в интересующую нас эпоху занимали соответственно Людовик I де Бурбон, граф де Шатийон-Сен-Поль и Бушар де Монморанси.

Узкоплечий, с впалой грудью и потухшим взором стоял у отцовской могилы принц Людовик, сейчас уже король Людовик X, мучась от странной боли в затылке, словно пронзаемом тысячью игл. Леденящая тоска сжимала сердце, сковывала все тело, будто клещами, он боялся потерять сознание. И он начал шептать слова молитвы, он молился, он молился о себе, как не молился никогда ни о ком на этом свете.

Справа от Людовика стояли два его брата: Филипп, граф Пуатье, и принц Карл, которому еще не был выделен особый надел; оба не отрываясь смотрели на могилу, сердце их томило естественное для каждого человека, будь он сын бедняка или королевский сын, чувство грусти в ту минуту, когда тело покойного отца исчезает в земле.

По левую руку от нового властелина держались два его дяди, их высочества Карл Валуа и Людовик д'Эвре, крепко сколоченные и сильные с виду, хотя оба уже перешагнули сорокалетний возраст.

Графа д'Эвре терзали обычные мысли. «Двадцать девять лет назад, – думал он, – мы, три брата, стояли вот так же у могилы нашего отца на этих же плитах… кажется, было это совсем недавно, а вот теперь настал черед Филиппа. Вся жизнь успела пройти».

Он перевел взгляд на соседнюю гробницу, где покоился вечным сном Филипп III. «Отец, – истово шептал Людовик д'Эвре, – примите в царствии том брата моего Филиппа, ибо был он достойным преемником вашим».

Сбоку от алтаря находилась могила Людовика Святого, а за ней виднелись каменные изображения великих предков. По другую сторону нефа лежало свободное еще пространство, нетронутые еще плиты, которые в один прекрасный день раскроются, дабы принять вот этого юношу, вступавшего на отцовский престол, а потом вслед за ним поглотят одно царствование за другим. «Здесь хватит места еще на многие века», – думал Людовик д'Эвре.

Брат его, Валуа, скрестив на груди руки и высоко вскинув подбородок, обводил ястребиным взглядом ряды присутствующих, следя, чтобы церемония развертывалась как положено.

– Король умер! Да здравствует король!

Еще пять раз раздавался под сводами базилики этот крик, по мере того как мимо могилы проходили сановники королевского двора… Со стуком упал на гроб Филиппа последний, пятый жезл, и воцарилась тишина.

В эту минуту Людовика X охватил приступ жестокого кашля, который он, как ни силился, не мог сдержать. Кровь прилила к бледным щекам, все тело Людовика била дрожь, и казалось, душа его отлетит прямо в отцовскую могилу.

Присутствующие переглядывались, митра клонилась к митре, венец к венцу – среди высокородных гостей прошел шепот тревоги и жалости. Каждого смущала мысль: «А вдруг и этот умрет через две-три недели, что тогда будет?..»

Среди пэров по праву занимала свое место грозная графиня Маго Артуа с побагровевшим от холода лицом; то и дело она беспокойно оглядывалась на своего племянника, гиганта Робера, стараясь угадать, почему это накануне он явился в собор Парижской Богоматери посреди заупокойной мессы небритый и забрызганный до пояса грязью. Где он был, что делал? Там, где появлялся Робер, тут же начинались интриги. Благоволение, которым внезапно стал пользоваться Робер после кончины Филиппа Красивого, не предвещало графине ничего доброго. И она невольно подумала, что, если нового короля, проводившего в последний путь своего отца, прохватит злой ветер, это будет ей только на руку.

Окруженный легистами Совета мессир Ангерран де Мариньи, коадъютор покойного государя и главный правитель французского королевства, стоял облаченный в траурное одеяние, носить которое имели право лишь особы царствующего дома. Время от времени он обменивался многозначительным взглядом со своим младшим братом Жаном де Мариньи, архиепископом Санским, который накануне служил заупокойную мессу в соборе Парижской

Богоматери и сейчас в золотой митре на голове и с посохом в руке величественно стоял в кругу высшего духовенства Парижа.

Два простых нормандских горожанина, еще двадцать лет назад называвшиеся просто Ле Портье, сделали поистине головокружительную карьеру, причем старший повсюду тянул за собой младшего; теперь братья Мариньи, как звали их по велению покойного государя, поделили между собой всю власть: старший сосредоточил в своих руках власть гражданскую, а младший олицетворял власть церковную. Это они, соединив свои усилия, уничтожили орден тамплиеров.

Старший брат, Ангерран де Мариньи, принадлежал к числу тех немногих людей, которые могут быть уверенными в том, что еще при жизни войдут в историю, ибо сами делают историю. И сейчас, при мысли о том, из каких низов общества он вышел и каких вершин достиг, его охватывала гнетущая печаль. «Государь Филипп, король мой, – мысленно обращался он к гробу, скрывавшему останки его господина, – я служил вам верой и правдой, и вы давали мне самые высокие поручения, осыпали меня бессчетными милостями и благодеяниями. Дни и ночи мы трудились вместе. Одинаково думали мы об одних и тех же предметах, случалось, мы совершали ошибки, но мы старались их исправлять. Клянусь вам защищать то дело, о котором мы пеклись совместно, продолжать его вопреки воле тех, кто поспешит на него ополчиться. Но до чего же я теперь одинок!» Недаром Ангерран де Мариньи был наделен страстями политика – он мыслил о Франции так, как будто был вторым ее государем.

Эгидий де Шамбли, аббат Сен-Дени, преклонив колена у могилы, осенил ее последним крестным знамением. Потом поднялся, махнул рукой могильщикам, и тяжелый плоский камень закрыл собой четырехугольное темное отверстие.

Никогда больше не услышит Людовик X пугающего до дрожи голоса своего отца, приказывавшего ему: «Помолчите, Людовик!»

Но вместо чувства облегчения его охватил страх. В эту минуту кто-то произнес над его ухом:

– Идите, Людовик!

Он вздрогнул всем телом – это Карл Валуа окликнул нового короля, показав жестом, что ему следует выйти вперед. Людовик обернулся к дяде и прошептал:

– При вас отец вступил на царство. Что он сделал? Что сказал в ту минуту?

– Он сразу же взял на себя всю тяжесть королевской власти, – ответил Карл Валуа.

«А ему шел тогда всего девятнадцатый год… он был моложе меня на целых семь лет», – подумал Людовик X. Чувствуя на себе любопытные взгляды присутствующих, он усилием воли выпрямил стан и двинулся вместе со своей свитой, состоявшей из монахов, которые, потупив головы, засунув руки в рукава сутан, шли вслед за королем, распевая псалмы. Они пели без передышки целых двадцать четыре часа и уже начинали фальшивить.

Из базилики траурный кортеж проследовал в капитульную залу аббатства, где был накрыт стол для поминок, традиционно завершавших погребальный обряд.

– Государь, – обратился к Людовику аббат Эгидий, не доведя его до места, – отныне мы будем возносить две молитвы: одну за того короля, которого призвал к себе Господь, а другую за того, кого Он ныне послал нам.

– Благодарю вас, святой отец, – ответил Людовик X не совсем уверенным тоном.

Потом с усталым вздохом он опустился на приготовленное ему место, потребовал воды и осушил чашу залпом. В продолжение всей поминальной трапезы он сидел молча, не прикасаясь к пище, зато все время пил воду. Его лихорадило, и он чувствовал себя разбитым душой и телом.

«Король должен быть крепок телом», – не раз говаривал Филипп Красивый сыновьям в те времена, когда они еще не были посвящены в рыцари и жаловались на усталость после утомительных упражнений в стрельбе из лука, фехтовании или вольтижировке. «Король дол-

жен быть крепок телом», – твердил про себя Людовик X в эти минуты, которыми начиналось его царствование. Он принадлежал к числу тех людей, у которых усталость легко переходит в раздражение, и со злобой подумал, что коль уж ему оставили в наследство трон, то должны были бы озаботиться дать достаточно сил, дабы он с достоинством восседал на этом троне. Да и кто, не обладая богатырской силой, мог бы пережить эту последнюю неделю и не сломиться?

Безжалостный ритуал требовал от нового государя, вступающего на отцовский престол, поистине нечеловеческих усилий. Людовику пришлось присутствовать при последних минутах отца, принять от него тайну «королевского чуда», подписать завещание[5] и в течение двух дней вкушать пищу подле набальзамированного трупа Филиппа. Потом водный путь из Фонтенбло в Париж, куда перевезли тело Филиппа Красивого, утомительные шествия и ночные бдения, церковные службы, бешеная скачка – и все это в самый разгар зимы, когда кони вязнут в грязи, смешанной со снегом, когда от порывов ветра перехватывает дыхание, а снег упорно сечет лицо.

Поэтому-то Людовик X от души восхищался своим дядей Валуа, который в течение всех этих дней ни на минуту не покидал племянника, умело разрешал все вопросы, пресекая все споры о местничестве, неутомимый, волевой, поистине страшный в своей вездесущности.

Казалось, именно его, Карла Валуа, природа наделила энергией, необходимой королям. Уже сейчас в беседе с аббатом Эгидием он заботился о миропомазании Людовика, хотя оно должно было состояться только будущим летом. Ибо аббатство Сен-Дени было не только усыпальницей французских королей, но и хранилищем орифламмы – знамени Франции, – которая торжественно извлекалась на свет божий, когда король отправлялся в поход. Здесь же сберегали одеяния и все атрибуты, требуемые при миропомазании. Граф Валуа вмешивался во все. Не нуждается ли в переделке мантия? В полном ли порядке ларцы, в которых будут перенесены в Реймс скипетр, шпоры и держава? А корона? Пусть незамедлительно золотых дел мастера снимут мерку с головы Людовика и подгонят корону под его размер. Ах, как бы хотелось его высочеству Валуа возложить королевскую корону на свое собственное чело! И он хлопотал вокруг племянника, как хлопочут вокруг новобрачной старые девицы, потерявшие надежду выйти замуж, – то подколют волан, то расправят шлейф…

Аббат Эгидий, почтительно слушая распоряжения Валуа, искоса поглядывал на молодого короля, которого снова начал бить кашель, и думал: «Приготовить-то все для миропомазания недолго, только дотянет ли он до лета?»

Когда поминки окончились, Юг де Бувилль, первый камергер Филиппа Красивого, поднялся с места – ему предстояло сломать перед Людовиком X свой резной жезл, что должно было ознаменовать окончание его обязанностей при королевской особе. Глаза толстяка Бувилля застилали слезы, руки тряслись, и он трижды пытался переломить свой деревянный жезл, подобие и символ золотого скипетра короля. Опустившись рядом с молодым Матье де Три, назначенным на должность первого камергера Людовика, толстяк шепнул ему:

– Вам теперь, мессир, честь и место.

Присутствующие поднялись, вышли во двор, где их уже ждали кони, и кортеж тронулся в последний путь. Не так-то много народу собралось на улицах Сен-Дени, чтобы приветствовать Людовика криками: «Да здравствует король!» Хватит вчерашнего дня, и так успели намерзнуться накануне зеваки, сбежавшиеся поглазеть на траурное шествие, голова которого появилась в воротах аббатства, когда хвост еще тащился через заставы Парижа; сегодняшнее торжество не сулило ничего интересного. С неба начал падать не то снег, не то дождь, от которого насквозь промокала одежда; на улицах остались только самые рьяные зеваки или же те, что,

[5] *…подписать завещание…* – Филипп Красивый завещал свое сердце и большой золотой крест тамплиеров доминиканскому монастырю в Пуасси. Сердце и крест исчезли в ночь на 21 июля 1695 г., во время пожара, вызванного молнией.

стоя под навесом крыльца, могли приветствовать нового государя, не рискуя вымокнуть до нитки.

С юных лет, с того самого времени, когда Людовик узнал, что ему суждено стать королем, он не переставал мечтать о том, как в сиянии солнца славы торжественно въедет в свою столицу. И когда Железный король одергивал сына, сурово выговаривая ему: «Людовик, не будьте таким сварливым!» – сколько раз он, сын, желал смерти отцу, сколько раз думал: «Когда получу власть, все изменится и люди увидят, каков я есть».

И вот Людовика уже провозгласили королем, а он так и не почувствовал перемены, превратившей его во владыку Франции. Ничего не переменилось, разве что он испытывал сегодня еще большую слабость, еще тягостнее стало ощущение неуверенности в своем непривычном величии да откуда-то нахлынули мысли об отце, столь мало любимом при жизни.

Бессильно уронив голову на грудь, дрожа всем телом, он вел коня через пустынные нивы, где только кучи соломы черными пятнами выделялись на непорочно-белой пелене, и казалось, это скачет впереди своего разбитого войска чудом уцелевший полководец.

Наконец показались первые домишки парижской окраины, и кортеж проехал заставу. Но парижане проявили не больше ликования, чем жители Сен-Дени. Да и чему, говоря откровенно, было радоваться? Раньше срока наступившая зима затруднила подвоз припасов, и смерть привольно разгуливала по столице. Год выдался неурожайный; съестные припасы становились редкостью, а цены на них все росли. Голод стоял у ворот Парижа. А то немногое, что знал народ о новом короле, отнюдь не давало надежды на лучшие времена.

Говорили, что Людовик – человек вздорный и мелочно-злобный, откуда и пошла его кличка Сварливый, просочившаяся из дворца в город. Никто не мог назвать случая, когда бы он совершил великодушный или хотя бы разумный поступок. Единственное, что принесло ему печальную славу, – это титул обманутого мужа, который, обнаружив измену, велел после жестоких пыток утопить в Сене всю свою челядь, заподозренную в попустительстве изменнице.

«Поэтому-то они меня и презирают, – твердил про себя Людовик X, – презирают из-за этой потаскухи, которая надо мной надругалась и выставила на посмешище всему свету… Ничего, не любят так, полюбят силой, они у меня еще попляшут, будут славить меня на все лады, точно души во мне не чают. А прежде всего мне нужно взять себе новую супругу, дать народу новую королеву, чтобы смыть позор бесчестья».

Увы! Отчет, который ему накануне, по возвращении из Шато-Гайара, сделал граф Артуа, оставлял мало надежд на быструю и безболезненную развязку. «Ничего, шлюха согласится: прикажу так с ней обращаться, так велю ее мучить, что непременно согласится».

Спускалась ночь, и лучники зажгли факелы. Пронесся слух, что при проезде короля будут кидать в толпу серебряные монеты, и поэтому на перекрестках улиц собирался кучками нищий люд в немыслимых отрепьях, сквозь которые просвечивало голое тело. Но никто даже грошика не кинул.

Печальный кортеж при свете факелов, проехав через Шатле и мост Менял, достиг наконец королевского дворца.

Опершись о плечо конюшего, Людовик X спрыгнул на землю, и вся кавалькада тут же рассыпалась. Первой подала пример графиня Маго, объявив, что всем необходимо хорошенько согреться и отдохнуть и что она лично возвращается к себе в отель Артуа.

Воспользовавшись удачным предлогом, отправились по домам бароны и прелаты. Даже братья нового короля удалились к себе. Итак, когда Людовик X вступил в королевский дворец, за ним последовал только строй лучников и слуг, его дядья – Валуа и д'Эвре – и Ангерран де Мариньи.

Они прошли через Гостиную галерею, почти безлюдную в этот час и поэтому особенно огромную. С десяток торговцев, после неудачного дня запиравших сундуки, скинули шапки

и, собравшись у входа, дружно крикнули: «Да здравствует король!» Но под величественными арками галереи их голоса прозвучали до странности слабо.

Сварливый медленно продвигался вперед, ноги в слишком тяжелых сапогах не повиновались ему, тело горело в лихорадке. Он обернулся направо-налево, вновь оглядел непомерно высокие статуи сорока королей, которые, начиная с Меровингов, правили Францией, – статуи, по приказу Филиппа Красивого воздвигнутые здесь вдоль стен при входе в королевское жилище, дабы каждый понимал, что здравствующий ныне государь является законным продолжателем священного рода, призванного к власти самим Господом Богом.

Это сборище каменных колоссов – предков, глядевших белесыми в свете факелов глазами, – лишь усиливало смятение несчастного живого, из плоти и крови, принца, их наследника, только что вступившего на престол.

Какой-то торговец обратился к своей жене:

– У нашего нового короля не особенно-то здоровый вид.

Его супруга, усердно дуя на замерзшие пальцы, прекратила свое занятие и ответила тем насмешливо-злым тоном, которым охотно говорят женщины по адресу несчастных мужей – несчастных именно по вине жен:

– Для рогоносца сойдет!

Хотя супруга торговца говорила не очень громко, ее пронзительный голос отчетливо прозвучал в тишине. Сварливый резко обернулся, щеки его побагровели, но напрасно старался он разглядеть дерзкого, осмелившегося произнести при нем роковые слова. Люди его свиты поспешно опустили глаза, делая вид, что ничего не слышали.

Кортеж достиг главной лестницы. По обе стороны монументального входа, как бы обрамляя его, высились две статуи: Филиппа Красивого и Ангеррана де Мариньи, ибо главный правитель королевства был удостоен высшей чести – еще при жизни в Галерее исторической славы воздвигли его изображение напротив изображения его господина.

Вряд ли кому-либо вид этой статуи был столь ненавистен, как его высочеству Карлу Валуа, и всякий раз, когда силой обстоятельств он бывал вынужден проходить мимо, его охватывало негодование против хитрого горожанина, вознесенного на столь неподобающую высоту. «Только такой лукавец и интриган мог дойти до подобного бесстыдства. Стоит здесь, словно он нашей крови, – думал Валуа. – Ничего, мессир, ничего, мы сбросим вас с постамента, тому порукой мое слово, и в недалеком будущем вы убедитесь, что время вашего зловещего лжевеличия прошло безвозвратно».

– Мессир Ангерран, – сказал он вслух, высокомерно глядя на своего недруга, – не кажется ли вам, что королю угодно побыть сейчас в семейном кругу?

Под словами «семейный круг» он подразумевал лишь его высочество д'Эвре, Робера Артуа и себя самого.

Мариньи сделал вид, что не понял этого прямого намека. Желая избежать стычки и в то же время подчеркнуть, что только один король вправе приказывать ему, он громко произнес:

– Множество неотложных дел призывают меня, государь. Разрешите удалиться?

Людовику было не до того: слова торговки не переставали звучать в его ушах. Вряд ли даже он сумел бы повторить вопрос Мариньи.

– Действуйте, мессир, действуйте, – нетерпеливо бросил он.

И стал подыматься по ступеням, ведущим в опочивальню.

Глава V
Принцесса, живущая в Неаполе

В последние годы своего царствования Филипп Красивый полностью перестроил старинное здание дворца на острове Сите. Человек скромных потребностей, более того, проявлявший чуть ли не скаредность в личных расходах, он, когда речь шла о вящем возвеличении идеи монархии, не останавливался ни перед какими тратами. Огромный дворец, этакая давящая все вокруг громада, был выстроен под стать собору Парижской Богоматери: там жилище Богово, здесь жилище короля. Внутренние покои дворца имели еще совсем новый, необжитой вид: все было пышно и мрачно.

«Мой дворец», – думал Людовик X, оглядываясь вокруг. После перестройки дворца он еще не жил здесь, ибо ему был предоставлен Нельский отель, доставшийся в наследство от матери вместе с короной Наварры. И теперь он разгуливал по этим огромным апартаментам, которые, с тех пор как он вступил во владение ими, представали перед ним в новом виде.

Людовик открывал одну за другой тяжелые двери, пересекал гигантские залы, под сводами которых гулко отдавались шаги: он миновал Тронный зал, зал Правосудия, зал Совета. Позади него в молчании шествовали Карл Валуа, Людовик д'Эвре, Робер Артуа и новый его камергер Матье де Три.

По коридорам бесшумно скользили слуги, по лестницам сновали писцы, но голосов не было слышно, во дворце еще царило траурное молчание, сковывавшее уста его обитателей.

В окна падал слабый свет – это в ночном мраке мерцали витражи часовни Сент-Шапель.

Торжественное шествие окончилось в сравнительно небольшой по размерам опочивальне, здесь обычно трудился покойный король. В камине, где свободно поместилась бы целая бычья туша, ярко пылало пламя, и наконец-то можно было согреться у огня, за надежным заслоном ивового экрана, скинуть промокшую насквозь одежду и спокойно усесться у очага. Людовик приказал Матье де Три принести сухое платье; мокрое он сбросил и повесил на экран перед камином. Дядья и Робер Артуа последовали примеру короля, и вскоре над плотными промокшими тканями, бархатом плащей, мехами, богато затканными кафтанами поднялся пар, а четверо мужчин в одних рубахах и коротких штанах, похожие на обыкновенных крестьян, вернувшихся домой с поля, так и этак вертелись перед огнем, подставляя его ласке то один, то другой бок.

На кованой железной подставке, имевшей форму треугольника, мерцали свечи, и свет их мягко озарял королевские покои. На колокольне Сент-Шапель зазвонили к вечерне.

Вдруг в дальнем, неосвещенном углу комнаты раздался долгий, прерывистый вздох, скорее даже стон. Присутствующие невольно вздрогнули, и Людовик X, не сумев удержать страх, пронзительно вскрикнул:

– Кто там?

В эту минуту вошел Матье де Три в сопровождении слуги, несшего сухое платье. Услышав крик короля, слуга поспешно опустился на четвереньки и вытащил из-под дивана борзую: огромный пес угрожающе выгнул спину и ощетинился, глаза у него горели.

– Сюда, Ломбардец, ко мне!

Это и впрямь был Ломбардец, любимая собака покойного государя, дар банкира Толомеи, тот самый Ломбардец, который находился при Филиппе, когда он, охотясь в последний раз, внезапно лишился чувств.

– Ведь собаку четыре дня держали взаперти в Фонтенбло, каким образом она могла очутиться здесь? – в бешенстве спросил Людовик Сварливый.

Кликнули конюшего.

– Государь, пес вернулся вместе со всей сворой, – пояснил конюший, – и никого не слушается. Бежит от человеческого голоса и со вчерашнего дня куда-то исчез, а куда – я и не знал.

Людовик велел немедленно увести Ломбардца и запереть его в конюшне; и так как огромный пес упирался, царапая когтями пол, король прогнал его из опочивальни пинками.

С детства Людовик питал лютую ненависть к собакам: однажды он забавы ради пробил гвоздем ухо какого-то пса и был укушен непочтительным животным.

В соседней комнате послышались голоса. В полуоткрытой двери показалась трехлетняя девчушка в слишком тяжелом для нее, негнущемся траурном платье; нянька легонько подтолкнула дитя к королю.

– Идите, мадам Жанна, идите поздоровайтесь с его величеством королем, вашим батюшкой! – шепнула она.

Четверо мужчин как по команде обернулись к бледненькой девчушке с непомерно большими глазами, к этому еще несмышленому существу, к теперешней единственной наследнице французского престола.

У Жанны был круглый выпуклый лоб – это, пожалуй, единственное, что позаимствовала она у Маргариты Бургундской; цветом кожи и цветом волос она резко отличалась от брюнетки матери. Ковыляя, она направилась к королю, оглядывая людей и встречные предметы беспокойно-недоверчивым взглядом, столь характерным для нелюбимых детей.

Людовик X движением руки отстранил дочь.

– Зачем ее сюда привели? Я не желаю ее видеть! – заорал он. – Пусть ее немедля отвезут в Нельский отель, пусть там и живет, коль скоро там…

Он хотел было добавить: «Коль скоро там мать зачала ее в распутстве», но удержался и молча проводил взглядом няньку, уносившую девочку.

– Не желаю видеть это чужое отродье, – добавил он.

– А вы уверены в этом, Людовик? – спросил его высочество д'Эвре, отодвигая от огня одежду из боязни, как бы она не загорелась.

– С меня довольно уже одного сомнения, – отозвался Людовик Сварливый, – и я не признаю, слышите, не признаю ничего, что имеет отношение к изменившей мне жене.

– Однако девочка пошла в нас – она блондинка.

– Филипп д'Онэ тоже был блондин, – желчно возразил король.

– Должно быть, брат мой, у Людовика есть вполне веские доказательства, раз он так говорит, – заметил Карл Валуа.

– И, кроме того, – закричал Людовик, – не желаю я больше слышать того слова, что бросили мне вслед! Не желаю читать его во взглядах людей. Пусть даже повода не будет к таким мыслям.

Его высочество д'Эвре замолк. Он думал о маленькой девочке, которой предстояло жить в обществе слуг в огромном и неприютном Нельском отеле. Вдруг он услышал слова Людовика:

– Ах, до чего же я буду здесь одинок!

С привычным удивлением взглянул Людовик д'Эвре на своего племянника, на этого неуравновешенного человека, поддающегося любому злобному движению души, копящего малейшие обиды, как скупец золотые монеты, гнавшего прочь собак, потому что когда-то одна укусила его, прогнавшего прочь собственного ребенка только потому, что был обманут женой, и жаловавшегося теперь на одиночество.

«Будь у него другой нрав и больше доброты в сердце, – думал д'Эвре, – может быть, и жена любила бы его».

– Вся тварь живая одинока на сей земле, – торжественно произнес он. – Каждый из нас одинок в свой смертный час, и лишь гордец мнит, будто он не одинок во всякий миг своего существования. Даже тело супруги, с которой мы делим ложе, остается нам чужим; даже дети, коих мы зачинаем, и те нам чужие. Того, бесспорно, возжелал Творец, дабы мы общались

только с Ним и только в Нем становились бы едины… И нет нам иной помощи, как в милосердии и в мысли, что и другие существа мучаются тем же злом, что и мы.

Людовик Сварливый недовольно пожал плечами. Дядя д'Эвре в качестве утешения вечно предлагает вам Господа Бога, а в качестве всеисцеляющего средства – христианское милосердие. Чего же от него после этого ждать?

– Конечно, конечно, дядя, – ответил он. – Но боюсь, что ваши увещевания вряд ли могут помочь мне в моих заботах.

Затем он резко повернулся к Роберу Артуа, который, стоя спиной к огню, весь дымился, словно гигантская суповая миска, и спросил:

– Стало быть, Робер, вы утверждаете, что она не уступит?

Артуа утвердительно кивнул:

– Я уже докладывал вам вчера вечером, государь мой, что я всячески старался повлиять на мадам Маргариту, и все зря; я даже пытался прибегнуть к самым веским аргументам, имеющимся в моем распоряжении. – Последние слова прозвучали насмешливо, но смысл заключенной в них иронии остался понятен лишь самому Роберу. – Однако я натолкнулся на такое упорство, на такое нежелание согласиться с нашими условиями, что с полным основанием могу заявить: ничего мы от нее не добьемся. А знаете, на что она рассчитывает? – коварно добавил он. – Надеется, что вы скончаетесь раньше ее.

Людовик X инстинктивно коснулся ворота рубахи, того места, где висела на шее ладанка, и несколько раз покружился на месте, с блуждающим взором, с разметавшимися волосами. Потом он обратился к графу Валуа:

– Вы сами теперь видите, дядя, что вопреки всем вашим заверениям это не так-то легко и расторжение брака будет подписано отнюдь не завтра!

– Я об этом все время думаю, только об этом и думаю, Людовик, – ответил Валуа и даже лоб наморщил с видом человека, погруженного в раздумье.

Артуа, стоя перед Людовиком Сварливым, который не доставал гиганту даже до плеча, нагнулся к королевскому уху и произнес таким оглушительным шепотом, что его можно было расслышать за двадцать шагов:

– Ежели вы, государь, боитесь, что вам придется попоститься, то зря: я уж как-нибудь расстараюсь и доставлю на королевское ложе сколько угодно красоток, которые за кошелек золота и из тщеславной мысли, что они, мол, дарят государю наслаждение, будут куда как податливы…

Говорил он с видом лакомки, словно об аппетитном куске мяса или о вкусном блюде, приправленном острой подливой.

Его высочество Валуа поиграл пальцами, унизанными перстнями.

– А к чему вам, Людовик, так торопиться с расторжением брака, – произнес он, – коль скоро вы еще не выбрали себе новой подруги, с каковой желали бы вступить в супружество? Да не волнуйтесь вы по поводу этого расторжения: государь всегда своего добьется. Первое, что вам нужно, – это найти супругу, которая была бы достойной партией королю и подарила бы вам здоровое потомство.

В тех случаях, когда на пути его высочества Валуа встречалось какое-либо непреодолимое препятствие, он, махнув на него рукой, брал следующее: в бранные дни, пренебрегши несдавшейся крепостью, он просто обходил ее и шел на приступ соседней цитадели.

– Брат мой, – заметил склонный к осторожности граф д'Эвре, – все это нелегко. Особенно в том положении, в каком находится наш племянник, если только он не согласится выбрать супругу ниже его положением.

– Пойдите вы! Я знаю в Европе десяток принцесс, которые босиком прибегут, лишь бы надеть корону Франции. Да вот, кстати, чтобы не ходить далеко, возьмем хоть бы мою племянницу Клеменцию Венгерскую… – сказал Валуа таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову, хотя он вынашивал свой проект в течение всей последней недели.

Он замолчал, ожидая, как будет воспринято его предложение. Никто не проронил ни слова. Однако Людовик Сварливый поднял голову и с любопытством взглянул на дядю.

– Она нашей крови, поскольку она из рода Анжуйских, – продолжал Валуа. – Ее отец, Карл Мартелл, отказавшийся от неаполитанско-сицилийского трона ради трона венгерского, скончался уже давно, и, конечно, поэтому-то она не нашла еще себе достойного супруга. Но брат ее Шаробер правит сейчас в Венгрии, а дядя ее – король Неаполитанский. Правда, она, пожалуй, вышла из того возраста, в каком положено вступать в брак…

– А сколько ей лет? – тревожно осведомился Людовик X.

– Двадцать два года. Но куда лучше жениться на взрослой девушке, чем на девчонке, которую ведут к венцу, когда она еще в куклы играет, а с годами становится распутницей, лгуньей и мерзавкой. Да и сами вы, племянничек, тоже ведь вступите в брак не в первый раз!

«Что-то слишком уж все гладко получается, – должно быть, в девице есть какой-нибудь тайный изъян, – решил про себя Людовик Сварливый. – Эта самая Клеменция уж наверняка горбатая или кривая».

– А какая она… с виду? – спросил он.

– Самая красивая женщина во всем Неаполитанском королевстве, и, как мне говорили, тамошние художники наперебой стараются запечатлеть ее черты на церковных витражах в виде Девы Марии. Припоминаю, что уже в раннем детстве она сулила стать замечательной красавицей и, судя по всему, не обманула наших ожиданий.

– Кажется, и впрямь она очень красива, – подтвердил его высочество д'Эвре.

– И добродетельна, – подхватил Карл Валуа. – Я надеюсь обнаружить в ней все те качества, какими обладала ее дражайшая тетушка, моя первая супруга, Царствие ей Небесное. Не забывайте, что Людовик Анжуйский, ее другой дядя – следовательно, мой шурин, – отказался от престола, дабы уйти в монахи, и в Тулузе на могиле этого святого епископа совершаются чудеса.

– Итак, у нас в роду будет второй святой Людовик, – заметил Робер Артуа.

– Ваша мысль, дядюшка, кажется мне весьма удачной, – сказал Сварливый. – Дочь короля, сестра короля, племянница короля и святого, красавица, добродетельная к тому же…

Он замолчал, думая о чем-то своем, и вдруг воскликнул:

– Ах, только бы она не оказалась брюнеткой, как Маргарита, потому что в таком случае ничего не выйдет!

– Нет-нет, – поспешил утешить его Валуа, – будьте спокойны, племянник, она блондинка, нашей доброй франкской крови.

– А как вы думаете, дядя Карл, понравится ли ваш проект ей и ее родне?

Его высочество Валуа спесиво надулся.

– Я оказал достаточно услуг ее родичам Анжуйским, и мне они отказать не посмеют, – ответил он. – Королева Мария, которая некогда сочла за честь дать мне в супруги одну из своих дочерей, конечно, согласится выдать свою внучку за моего любимейшего племянника, тем паче что, будучи вашей женой, она вступит на трон прекраснейшего королевства в мире. Я сам займусь этим делом.

– Тогда займитесь не мешкая, дядя, – отозвался Людовик. – Незамедлительно направьте в Неаполь послов. А каково ваше мнение, Робер? И ваше, дядя Людовик?

Робер выступил вперед на один шаг и широко раскинул руки, словно говоря: весь к вашим услугам – готов хоть сейчас скакать в Италию. Людовик д'Эвре, присевший у камина, ответил, что в общем он одобряет этот план, но что дело это скорее государственное, нежели семейное и слишком важное, дабы решать его опрометчиво.

– По-моему, самое благоразумное было бы выслушать мнение Королевского совета, – заключил он.

– Пусть будет так, – с живостью отозвался Людовик. – Завтра же собрать Совет. Я прикажу мессиру де Мариньи созвать людей.

– Почему именно мессиру де Мариньи? – с притворно-удивленным видом спросил Валуа. – Я и сам прекрасно могу заняться этим делом. У Мариньи и без того немало обязанностей, и обычно он подготавливает Совет наспех, кое-как, с единственной целью получить одобрение от членов Совета и отвлечь их внимание от своих махинаций. Но не беспокойтесь: у нас все пойдет по-иному, и я постараюсь собрать Совет, более достойный служить вам. Впрочем, такова была воля вашего покойного родителя. Он говорил со мной об этом с глазу на глаз в последние дни своей жизни.

Мокрое платье высохло, и мужчины оделись.

Людовик X не отрываясь глядел на огонь. «Красавица и добродетельная, – твердил он про себя, – красавица и добродетельная…» Тут на него снова напал приступ кашля, так что слова прощания почти не коснулись его слуха.

– Кое-кто нынче ночью поворочается в постели без сна, – засмеялся Артуа, когда за мужчинами захлопнулись двери королевских апартаментов.

– Робер, – с упреком оборвал его Валуа, – не забывайте, что отныне вы говорите о короле.

– Да я и не забываю и никогда ничего подобного не скажу при посторонних. И все же вы сумели внушить Людовику мысль, которая сейчас, уж поверьте мне, не даст ему покоя. А ловко это вы, черт побери, сумели подсунуть ему вашу любезнейшую племянницу Клеменцию!

Его высочество д'Эвре думал о красавице-принцессе, которая живет в замке на берегу Неаполитанского залива и чья судьба только что решилась здесь неведомо для нее. Его издавна восхищало и удивляло, какими неисповедимо таинственными путями идут человеческие судьбы.

Только потому, что безвременно скончался государь, только потому, что молодой король не желал оставаться без супруги, только потому, что дядя спешил угодить племяннику, только потому, что случайно брошенное имя запало в память Людовику, только поэтому юной златокудрой девушке, быть может в этот самый час за пятьсот лье отсюда глядящей на вечно лазурное море и с тоской думающей о том, что ничто не изменится в ее судьбе, суждено было стать средоточием забот королевского двора Франции…

Но в душе его высочества д'Эвре снова заговорила совесть.

– Брат мой, – обратился он к Валуа, – неужели вы и впрямь считаете, что крошка Жанна – незаконнорожденное дитя?

– Пока я в этом еще не окончательно уверен, брат мой, – ответил Валуа, кладя на плечо Людовику д'Эвре свою унизанную перстнями руку. – Но не беспокойтесь: недалек тот час, когда весь мир будет считать ее таковой!

Говоря так, его высочество Валуа искренне считал, что печется лишь об интересах сегодняшнего дня, он не мог знать, какие последствия повлекут за собой его замыслы, не мог знать, что именно благодаря им собственный его сын в один прекрасный день станет королем Франции.

Если бы его высочество д'Эвре мог перенестись во времени на пятнадцать лет вперед, еще о многом задумался бы он.

Глава VI
Королевское ложе

Монументальное, украшенное резными крылатыми фигурами королевское ложе занимало треть опочивальни. Полог темно-синего атласа, затканный золотыми лилиями, походил на бездонное ночное небо, усеянное звездами; при взгляде на пышные драпировки балдахина невольно вспоминались паруса, упруго взвившиеся на реях.

Опочивальня, где царили полумрак и гнетущая тишина, где все дышало унылым благолепием, освещалась слабым огоньком ночника, вставленного в чашу серебряной лампы, свисавшей с потолка на трех массивных цепях[6]; в неверном свете причудливо вспыхивала искрами золотая парча покрывала, спадавшего до самого пола тяжелыми, негнущимися складками.

Вот уже целых два часа Людовик X тщетно пытался забыться сном на этой непомерно огромной кровати, служившей ложем его отцу. Он задыхался под одеялами, подбитыми мехом, но, скинув их, тотчас же начинал дрожать от холода. Беспредельная усталость рождала бессонницу, а бессонница рождала тоску. Хотя Филипп Красивый скончался в Фонтенбло, Людовик не находил себе покоя, словно на этом ложе незримо пребывал мертвец.

Все картины последних дней, все навязчивые мысли, каким суждено было терзать его в будущем, вихрем проносились в мозгу Людовика: вот кто-то из толпы крикнул: «Рогоносец!» – а что, если Клеменция Венгерская откажет или вдруг она уже обручена?.. Вот проплыло суровое лицо аббата Эгидия, склонившегося над могилой короля: «Отныне мы будем возносить две молитвы… А знаете, на что она рассчитывает? Надеется, что вы скончаетесь раньше ее!»

---

[6] *…ночника, вставленного в чашу серебряной лампы, свисавшей с потолка на трех массивных цепях…* – В Средние века было в обычае ставить на ночь над кроватью зажженную лампу. Предполагалось, что это отгоняет злых духов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.